

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Иван Шмелёв
ДЕТЯМ



Школьная библиотека (Детская литература)

Иван Шмелев
Детям (сборник)

Издательство «Детская литература»

2010

Шмелев И. С.

Детям (сборник) / И. С. Шмелев — Издательство «Детская литература», 2010 — (Школьная библиотека (Детская литература))

В сборник вошли рассказы, написанные для детей и о детях. Все они проникнуты высокими христианскими мотивами любви и сострадания к ближним. Для среднего школьного возраста.

© Шмелев И. С., 2010
© Издательство «Детская литература», 2010

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Мир шмелевского детства | 6 |
| Рассказы | 13 |
| Яичко | 13 |
| Полочка | 15 |
| I | 15 |
| II | 18 |
| III | 20 |
| IV | 22 |
| Последний выстрел | 24 |
| I | 24 |
| II | 25 |
| III | 26 |
| IV | 29 |
| V | 30 |
| VI | 32 |
| VII | 33 |
| VIII | 34 |
| IX | 35 |
| X | 38 |
| Мэри | 39 |
| Глава I. Старый жокей | 39 |
| Глава II. Мэри | 40 |
| Глава III. Новые лица | 44 |
| Глава IV. В сарае | 46 |
| Глава V. Первая проба | 48 |
| Глава VI. Желчный философ | 50 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 52 |

Иван Шмелёв

Детям (сборник)

- © Суорова Л. Ю., вступительная статья и комментарии, 2010
- © Коваленко Н. Д., иллюстрации, 2010
- © Бритвин В. Г., портрет И. С. Шмелева, 2004
- © Оформление серии, составление. ОАО «Издательство «Детская литература», 2010

Мир шмелевского детства



В 70-х годах XIX столетия, когда Москва представляла собой неповторимый город, живущий по своеобразным законам, и управлялась своим «царьком», губернатором В. А. Долгоруковым, под самым ее сердцем, напротив Кремля, в Замоскворечье проходило детство большого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Он родился в доме, построенном его прадедом, неподалеку от Калужской заставы. Среда, в которой он рос, не отличалась образованностью. Отец Шмелева, московский подрядчик, не окончил курса в Мещанском училище, воспитанников которого, главным образом, нацеливали на каллиграфический почерк и умение обращаться со счетами. Даже слова «культура», по свидетельству самого Ивана Сергеевича, в мире его детства не существовало. Все, начиная с городского устройства, не носило следов элементарной цивилизации. На улицах едва мерцали фонари, заправленные маслом; если фонарщик забывал их зажечь, то прохожие вынуждены были довольствоваться естественным лунным светом. Нередко площадь перед губернаторским домом по ночам оглашалась страшным гулом – это ехали за город золотари, в огромных бочках везли нечистоты. Питьевая вода доставлялась в Москву из Мытищ и сохранялась в особых бассейнах, откуда каждое утро разносилась по домам.

Безопасность населения обеспечивали будочники с алебардами¹, не трогавшиеся обычно с места, когда раздавался крик о помощи, – они просто спали на дежурстве. По рассказам старых москвичей, если посреди ночи вдруг слышалось жалобное «грабят!», то люди из открытых окон пугали невидимых врагов ответным «идем!», а то и действительно, вооружившись топорами и чем придется, выбегали спасать попавшего в беду.

Много было случаев гибели под колесами экипажей. Происходило это по недосмотру городских властей. Никто строго не надзирал за уличным движением. Извозчики, заполонившие столицу (крестьяне из близлежащих деревень), в борьбе за клиента устраивали беспорядок, неслись гурьбой к желанному седоку, стараясь перехватить его один у другого. Никаких дорожных правил они не признавали.

А домашний обиход? На двух магистральных улицах Замоскворечья разместились купеческие особнячки побогаче. Но в изобилии существовали и самые простенькие мещанские домики с небольшими садиками. Глухие ворота охранялись дворником, а в темное время суток

¹ Алебарда – старинное оружие в виде топора на длинном древке, заканчивающемся копьём (фр.).

и злыми псами. Заборы были утыканы гвоздями. Мелкие и крупные торговцы, из которых поначалу состояло купечество, в быту сохраняли привычки сельских жителей, так как не утратили окончательно связи с деревней, откуда все без исключения вели свои родословные.

А. Н. Островский ярко живописал в своих пьесах негативные черты стремительно пошедшего в гору купечества. Несомненно, отсутствие подлинной культуры и неожиданное денежное преимущество над бывшими хозяевами Москвы, дворянами, порой кружило голову разбогатевшим выходцам из народа. После ежегодных молебнов с водосвятием, перед началом очередного торгового сезона, солидные владельцы магазинов отправлялись кутить «до петухов» к цыганам или арфисткам, каждый сообразно со своими доходами. В трактире Бубнова славилось так называемое дно – подвальное помещение, не имевшее окон. Туда, как в берлогу, забирались купцы, чтобы предаваться беспробудному пьянству после заключения успешных коммерческих сделок. Если иностранец хотел завоевать купеческое доверие, ему приходилось осваивать науку пить и оставаться трезвым. Таким свойством обладал, к примеру, англичанин Конн, сделавший себе состояние на оборудовании европейскими машинами всех крупных московских фабрик.

Не достигнув дворянской образованности, купечество стремилось затмить дворянство внешними эффектами. В ресторанах заказывались самые изысканные блюда, оказывалось покровительство красавицам артисткам. В памяти москвичей еще остались чудачества вельмож Екатерининского времени, удивлявших роскошными празднествами в Нескучном саду. Но их капиталы вместе с их могуществом иссякли. Теперь в столице чудило купечество. Дворянство смотрело на своих соперников свысока и первое, в чем попрекало, – в необразованности.

По воспоминаниям известного коммерсанта и мемуариста И. А. Слонова, типичный представитель купеческой Москвы Заборов сам приезжал в свою башмачную лавку читать работникам Библию «для спасения души» и тут же разбивал головы мальчиков и даже приказчиков о железную лестницу. Постепенно из среды подобных самодуров выделились наши меценаты и благотворители: Морозовы, Третьяковы, Мамонтовы, Солдатенковы, Щукины, Найденовы, Бахрушины, Боткины. Правда, они были людьми уже иного поколения, с серьезным багажом знаний и, что важно, со стремлением оставить свой след в отечественной культуре.

В 1890-е годы за столом у представителей промышленного класса собирались художники и артисты, писатели и музыканты, обсуждали насущные вопросы русского искусства и литературы. Частная опера С. И. Мамонтова, благодаря тонкому художественному чутью ее организатора, открыла великое дарование Ф. И. Шаляпина и шедевры подлинно русской музыки – творения Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского. Стараниями Мамонтова московская публика впервые увидела и настоящее сценическое оформление, когда занавес и декорации писали М. А. Врубель, К. А. Коровин, В. М. Васнецов и другие ныне признанные таланты, тогда открытые еще одним художественно чутким промышленником – П. М. Третьяковым.

Купечество не только поддерживало своими капиталами русскую культуру, но и само становилось ее частью. Его даровитости хватало и на то, чтобы выдвинуть из своих недр, из одного купеческого рода Алексеевых, такого городского голову (Николая Александровича Алексеева), который смог обустроить Москву, провести в дома воду, наладить канализацию, замостить, вычистить и осветить улицы, и на то, чтобы подарить России родоначальника целого направления в театральном искусстве – Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева).

Если говорить о меценатстве, о вкусе к литературе и искусству, то здесь купечество старалось дотянуться до дворянства и училось у него. А вот широкая благотворительная деятельность: строительство богаделен, больниц, домов для бедных и т. д., трата миллионных средств на народные нужды – представляла собой часть купеческой религиозной культуры (часто старообрядческой) и образования.

Типичным представителем купечества был отец Ивана Сергеевича Шмелева – Сергей Иванович. В изображении писателя он предстает человеком, который не находит времени на чтение книг. Взяв подряд на строительство трибун ко дню открытия памятника Пушкину в 1880 году, Сергей Иванович признается, что пока не успел прочесть сочинений великого поэта. Тем не менее у него заметна тяга к прекрасному, и в своих малых масштабах отец Шмелева занимается меценатством. Он поддерживает самоучку-архитектора, которому доверяет исполнить спешную работу – соорудить щиты с иллюминацией для украшения города к празднику. Больной туберкулезом художник только перед смертью обретает своего покровителя. Прежде ему приходилось довольствоваться случайным заработком: расписывать стены в трактирах или шатры масленичных балаганов и даже пробовать себя в качестве актера. Все эти падения и взлеты в судьбе самородка из народа Коромыслова описаны Шмелевым в рассказе «Рванный барин» (1911).

Создавая свой рассказ еще в начале 1910-х годов, писатель заботился о том, чтобы соответствовать определенным общественным настроениям, и темой повествования избрал социальное неравенство: крестьянский сын соперничает с дипломированным архитектором. Эмиграция заставила Шмелева иначе взглянуть на свои сочинения. В ряде рассказов, в повестях и романах, созданных писателем за границей, несправедливость и страдания рассматриваются с религиозной точки зрения, как следствие человеческой греховности, или, говоря словами Ф. М. Достоевского, – борьба между классами лишь следствие борьбы, совершаемой в сердце человеческом, где Бог борется с дьяволом.

Шмелев переписал «Рваного барина», оставив два эпизода: историю об актерской деятельности Коромыслова, озаглавленную «Наполеон», и коротенькую сценку, произошедшую между маляром и двумя озорниками мальчишками, под названием «Русская песня». От прежней жалостливой интонации, с какой писатель повествует о задавленном жизнью одноруком художнике, в «Наполеоне» почти ничего не осталось.

«Рванный барин» предназначался Шмелевым для детского петербургского журнала «Родник», где и был опубликован в 1911 году. Сохранилась его переписка с издательницей этого журнала, Н. А. Альмединген. В одном из писем к ней Шмелев высказал свои взгляды на детскую литературу и пояснил, чего он сам добивается в своих произведениях для детей. Маленький человек, только вступающий в мир взрослых, должен узнать из книг о своем народе, о его укладе, о том, что «и в простых сердцах, и в бедных людях заложены великие возможности». Для Шмелева литература призвана не развлекать читателя, а показывать ему цели, которым следует служить. Это и есть национальная литература. Настораживало писателя то, как влияет современная ему проза на юные души.

Талантливые Л. Н. Андреев и Ф. К. Сологуб способствовали разочарованию в жизни и отчаянию. Неоднократно в письмах друзьям уже в эмиграции Иван Сергеевич будет повторять свои мысли из письма к Альмединген о целях, которые писатели обязаны указывать молодежи: «Страшна теперешняя оторванность молодежи от заветов, которые были дороги и дороги лучшим представителям литературы и жизни. Страшны безразличие и легкость отношений к текущей жизни, нарастающий эгоцентризм, „переживания“ личные, – отсюда пустота, голодость, одиночество, отчаяние, отсутствие Бога жива, погоня за мимолетностью, легкий расчет с жизнью. Как будто пали знамена светлые и осталась молодежь на мели, со своими неясными переживаниями. И, чуя одиночество и пустоту, покупает морфий и говорит: надоело, жизнь бесцельна. С этим надо бороться, и кажется мне, что здоровое в литературе, также в юношеской, что будет звать к жизни реальной и близкой, может бороться с этим»².

Перед «Рванным барином» с подзаголовком «Из воспоминаний приятеля» Шмелев опубликовал «Полочку» (1909). Он сообщал Альмединген, что эти рассказы не выдуманы. Фигура

² Вильчинский В. И. С. Шмелев в журнале «Родник» // Русская литература. 1966. № 3. С. 188.

«рваного барина», заверяет писатель, возникла из его детства, и, «дабы не вводить читателя в ужасы жизни», он многое опустил в реальной истории этого человека, а сюжетная основа рассказа «Полочка», скорее всего, существовала лишь в воображении писателя. В «Автобиографии» (1913) Шмелев упоминает о родном дяде – большом любителе книг, рано умершем («прочитал все свое здоровье на книгах»). Казалось бы, рассказ «Полочка» написан о дружбе маленького Вани (в рассказе мальчик носит другое имя) с этим необычным для шмелевского мира человеком. Но действительно существовавший дядя, Павел Иванович, скончался еще до рождения будущего писателя.

В рассказе среди дядиных книг особо выделены «Записки охотника» И. С. Тургенева, которые Шмелев очень высоко ценил; они оставались для него до конца дней лучшим из всего созданного Тургеневым.

Несомненно, рассказ «Последний выстрел» (1908), публиковавшийся, как и «Полочка», в журнале «Юная Россия», возник под влиянием одного из очерков «Записок» – «Касьяна с Красивой Мечи». Шмелев рисует живописный сосновый бор, в котором хозяйничают огромные ястребы. Приехавший на природу дачник открывает охоту на хищников. Хотя его стрельба по птицам не барская забава, как у рассказчика из «Записок...» (он мстит за растерзанного петушка), но в итоге охота на ястребов перерастает в грех убийства, в расправу над неповинными птицами.

Когда писался «Последний выстрел», Шмелеву, очевидно, приходили на память мудрые слова тургеневского Касьяна: «...много ее, всякой лесной твари, и полевой и речной твари, и болотной и луговой, и верховой и низовой – и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела...<...> Кровь солнышка Божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, великий!»

Свои первые рассказы Шмелев посвящал животным, как существам, лишенным человеческих пороков, – пояснял он в «Автобиографии». Его скаковую лошадку Мэри из одноименного рассказа, пожалуй, можно считать самой очеловеченной лошадью в русской литературе.

Образ этого благородного животного, созданный Шмелевым, сразу врезался в память другому русскому писателю, Александру Амфитеатрову, чья статья «Шмелев и „Мэри“», являясь откликом на книгу «Как мы летали» (1918), была в основном посвящена вошедшим в нее рассказам «Мэри» и «Мой Марс». Амфитеатров писал, что в «Мэри» важна не фабула, а психологизм: «Простая история скаковой лошади, с великолепными задатками, но еще молодой и слабой, которая, быв рано пущена на скачку, надорвалась, чтобы взять приз. Автор желает дать нам понять, что надорвалась сознательно, чтобы непременно „сделать деньги“ для своего хозяина-старика и осчастливить живое население его двора, начиная с детей и кончая собакой Жуком, которому нужна новая конура, и воробьем, который скучает по овсу и пролетарски недоволен Мэри, как дармоедкой...»³ «Мэри» принадлежит к таким произведениям, над которыми будут проливать слезы равно ребенок и взрослый, – столько в них подлинной трогательности, – поэтому Амфитеатров сравнивает шмелевский рассказ с «Мальчиком у Христа на елке» Ф. М. Достоевского.

Порой бывает, люди объединяются в общей неприязни к тому, кто им всячески досаждал, человек то или зверь, но случись несчастье с этим существом, как они меняют свою ненависть на сострадание. Шмелеву удалось изобразить подобный переход настроений в рассказе «Мой Марс» (1918). Сравнивая «Моего Марса» и рассказ Диккенса «Наш общий друг», критик противопоставляет русскую сострадательность и сострадательность, рожденную иным, западным укладом, по преимуществу нерелигиозным. В шмелевском рассказе пассажиры парохода охвачены чувством ненависти к надоедливой собаке и готовы швырнуть ее за борт в порыве злости. Но вот животное само оказывается за бортом. Когда Марса вытащили из воды, «все ликуют

³ Амфитеатров А. В. Шмелев и «Мэри» // Возрождение. 1928. 18 дек.

в радостном энтузиазме, всем этот пес мил, все его ласкают, дружат с ним, все умильно счастливы, что спасена, восторжествовала над смертью некая жизнь». У Диккенса тонет не собака, а человек, и знавшие его начинают жалеть о нем, несмотря на то что это был негодяй, каких мало. Сострадание моментально иссякает, как только утопленник начинает приходить в себя. Люди раскаиваются в том, что спасли его. У русского же человека сострадание безгранично, простирается и на отпетых грешников. Несомненно, именно в «Моем Марсе», по верному определению Амфитеатрова, Шмелев засвидетельствовал свое ученичество у Достоевского.

Нежность и жалость, проявленные грубым на вид крестьянином к испугавшемуся ребенку, изображены Достоевским в рассказе «Мужик Марей», который Шмелев прочел, вероятно, с большим вниманием, найдя в его герое много общего с людьми, окружавшими его в детстве.

Сердце простого народа Шмелев открыл очень рано на дворе своего отца, подрывавшего на разные работы крестьян из ближних губерний, поэтому многие рассказы о народе носят у него характер воспоминаний. Такова его «Русская песня», в которой двое мальчишек, один из которых – будущий писатель Шмелев, подшутили над маляром, вымазали его краской, пока тот спал. Простой русский человек, душевный, незлобивый, отнесся к шалунам с лаской и пониманием.

Чуткий на проявления жертвенной любви, русский народ ценит ее в других, будь то человек или бессловесный зверь. В раннем неопубликованном рассказе «Думы» Шмелев размышляет о судьбе русского пахаря, о трудной его доле, сознавая, что именно ему открыто такое, о чем не подозревают счастливые люди. Он знает, как переносить страдания, потому что сам непрестанно трудится и знаком с нуждой.

Тема сострадания пронизывает и рассказ «На морском берегу» (1910). В нем главный герой, семилетний мальчик Жоржик, и его воспитатель-студент встречают старика грека, потерявшего все: родину, жену, детей – и тем не менее сохранившего внутреннюю крепость, не упавшего духом. Жоржик, несмотря на свой юный возраст и внешнее благополучие, жалеет беднягу. Эта чуткость ребенка к чужой беде удивляет студента, но автор дает подсказку читателю. Маленький герой так глубоко может почувствовать страдание другого, потому что сам носит в сердце боль, – у Жоржика умер отец, вот-вот умрет от туберкулеза мать. Умение сострадать, по мнению Шмелева, способно вернуть на землю рай. Сострадание объединяет не только людей, оно роднит человека и бессловесную тварь. Люди и звери начинают жить в мире, как это было до грехопадения Адама.

Теме сострадания, способного объединять, посвящен еще один рассказ Шмелева – «Как мы летали». Его герой, Петька Драп, которого нещадно лупит хозяин-скорняк, обретает родную душу среди животных в зоопарке. Слон, находящийся в неволе, проникается к мальчику расположением и жалеет его. От окружающих пареньку сочувствия не дожидаться. Побои мальчишек, подмастерьев и даже приказчиков считались в купеческой Москве делом обычным, никто не ставил во грех рукоприкладство старших по отношению к младшим. О ложности такого порядка вещей заговорил одним из первых во всеуслышание А. П. Чехов в повести «Три года», описав нравы одной из московских торговых контор.

Настойчиво возвращался Шмелев в очерках, повестях и рассказах к своему московскому детству, которое особенно стало ему дорого в эмиграции. Он переиздает дореволюционные произведения для юношества и создает ряд вещей мемуарного характера о русской культуре: «Как мы открывали Пушкина» (1926), «Как я узнавал Толстого» (1927), «Как я встречался с Чеховым» (1934). В каждом из великих русских писателей для него важна их народность.

На выявление типичных национальных черт направляли свои усилия все покинувшие Родину в смутное время Гражданской войны, – вспоминали о великой и необъятной России, о ее взлетах и падениях. Генералы А. И. Деникин («Старая армия») и П. Н. Краснов («Воспоминания о русской императорской армии») писали о русском солдате и офицере; литераторы,

например Б. К. Зайцев («Далекое») и Ф. А. Степун («Бывшее и несбывшее») с упоением рассказывали о русской интеллигенции, пытались понять мужика; политики П. Н. Милуков, А. И. Гучков, П. Б. Струве рассуждали о причинах крушения России, освещали жизнь тех, кто стоял у власти. Многие воспоминания начинались рассказом о детстве, о первом ощущении Родины.

Был у русских изгнанников день, в который особенно много говорилось о родном, – День русской культуры, приуроченный ко дню рождения Пушкина. Выражая общие настроения, князь Петр Долгоруков писал: «В дни чествования русской культуры важно не только приобщаться к высшим ее достижениям, но и отводить должное место народному быту и народному творчеству, т. е. тем подпочвенным водам, тем первоисточникам, которые питали и питают русскую культуру. Надо, чтобы, как удачно было кем-то сказано, вспоминался не только Пушкин, но и няня Арина Родионовна»⁴.

Шмелев попытался создать образы Пушкина, Толстого и Чехова из тех черт, какие достались им от вскормившего их народа. Так, Пушкин со своего портрета отвечает на улыбку отца маленького Вани своей улыбкой, словно бы благодаря купца за благотворительное строительство трибун к открытию памятника ему, поэту. А чудачества Льва Толстого, как подметил Шмелев («не желает быть графом», ходит мыться в дешевые номера), восприняты банщиками как юродство – одно из проявлений святости.

Самым загадочным, и одновременно близким и понятным, получился у Шмелева образ Чехова, с которым он встречался три раза. Антон Павлович был для первого поколения эмигрантов и для тех, кто не покинул Россию, для московской интеллигенции, для художественной богемы рубежа XIX–XX веков, их современником, которого лично знали, с которым хотя бы раз встречались. В День русской культуры вспоминали, каким он был и остается для каждого. Для поэта К. Бальмонта, для художника К. Коровина и писателя Вл. Ладыженского Чехов воплощал собой русскую грусть и мягкость: «...ничего резкого, ни движения, ни слова резкого, ни даже слишком громкого голоса, ни умствующего рассуждения! Легкая, хваткая, меткая, быстрая оценка – одним словом, одной усмешкой, одним жестом – определение, сразу, на лету, и явления, и события, и живого существа»⁵. Всем приходила на память не только его исключительная скромность, но и то, что он был материалистом, верившим в прогресс, ценившим комфорт и культурную беседу. В молодости он смеялся над пошлостью и мещанством, а, серьезно заболев, под конец жизни превратился в мрачного пессимиста, так и не преодолевшего свою душевную опустошенность. Судили о Чехове, доверяясь его письмам, в которых тот заявлял о себе как о художнике в чистом виде, то есть художнике, изображающем жизнь такой, какая она есть.

Шмелев нашел для воспоминаний о Чехове иные краски. В очерке «Как я встречался с Чеховым» он описывает, как на его глазах рождались чеховские рассказы «Мальчики» и «Свадьба». Гимназист Шмелев и его товарищ Женька Пиуновский ловили на Мещанских прудах рыбу и воображали себя то индейцами, то эскимосами. За этим занятием их застал Антоша Чехонте, навещавший брата-учителя. Для Чехова двое друзей послужили прототипами его рассказа «Мальчики».

Шмелев дает понять, что Чехов заимствует у жизни лишь психологический портрет, типаж, а остальное – сюжет, обстановку и т. п. – рисует воображение художника. Краски можно сделать яркими, а можно и тусклыми, можно дать четкие контуры предмета, можно размытые, можно повернуть изображаемый предмет скрытыми доселе сторонами – подобными манипуляциями автор подчиняет себе фрагмент схваченной им действительности. Шмелев демонстри-

⁴ Долгоруков П. День русской культуры // Перезвоны. 1926. № 20. С. 598.

⁵ Бальмонт К. Имени Чехова // Россия и славянство. 1929. 13 июля. С. 2.

рует, как происходит процесс подчинения художником выхваченного кусочка живой реальности.

Довелось Ивану Сергеевичу наблюдать и за событиями, которые Чехов описал в рассказе «Свадьба». Оба писателя, Чехов и, тогда еще гимназист, Шмелев, одновременно явились свидетелями произошедшего на мещанской свадьбе скандала. Подробности неприятного происшествия, которые описывает Шмелев в третьей части своего очерка о Чехове, должны, по его замыслу, показать, насколько груба действительность сама по себе. Ни одного положительного или хотя бы отчасти привлекательного лица в шмелевской «Веселенькой свадьбе» мы не встретим. Напротив, если обратимся к чеховской «Свадьбе», то увидим, что волей автора люди преобразились: невеста приобрела романтический ореол, даже ее жениху прощено то, что он выпивает, а родители новобрачной – трогательные старики, с наивной простотой хвастающие перед гостями тем, что жених дочери благородный и что сами они обеспечили молодым безбедное существование.

Чехов любит своих героев, какие бы они ни были. Шмелев настаивает на том, что у Чехова уже в раннем творчестве было свое сложившееся мировоззрение и писательство для него никогда не было забавой. Случайно Шмелев застал Чехова за покупкой житий святых (Четьи minei) у знакомого букиниста. Светский писатель Чехов учился у писателя духовного – Дмитрия Ростовского. Как говорит дьякон из чеховского рассказа «В бане»: «Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. Говорю я о писателях как светских, так равно и духовных».

Именно таким, принявшим на себя высокую миссию – смягчать грубые нравы, просвещать, преобразовать жизнь своим писательским ремеслом, – и предстает Чехов в очерке Шмелева.

И отец Шмелева, и «рваный барин» Коромыслов, и маляр с его бесконечной песней, и Петька Драп, и Антоша Чехонте – все эти люди населяют мир шмелевского детства. И Шмелев откликнулся в своем творчестве на призыв среды, его взрастившей, призыв московского купечества рубежа веков ко всякого рода общественной деятельности, будь то благотворительность или личное участие в благоустройстве народного быта, в просветительстве. Все это и помогло сложиться шмелевскому таланту, не только умеющему сострадать и любить, но и желающему защищать и отстаивать то, чему сострадаешь.

Л. Суrowова

Рассказы



Яичко

Константину Дмитриевичу Бальмонту



Весна. А где же воздух, наш весенний воздух, снег плывучий, крик петухов разливный, журчливый канавки под ледком, поутру? Где радость, заливающая сердце, – радость ни с чего как будто?.. И в щебетанье воробьев в пустых деревьях, в блеске засочневших почек, и в блеске первых камушков на мостовой, и в первых лужах, и в будто потеплевшем звоне, тающем, весеннем.

Каштаны в «свечках» не заменят мне пушистой вербы, березки вольной, хлестающей по ветру. Жесткие деревья плачут сажей. Весна? В дожде – как осень. Нет пробужденья, нет улыбки ясной, как у нас, —

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года.

Ищу чего-то. Земля – чужая, небо – и оно другое. Или мои глаза – другие?..

Из глубины душевной, где тени прошлого, я вызываю мое небо. Светлое, голубоватое, как полог над моей кроваткой, всегда в сиянье. Белых ли голубей в нем крылья, кресты ли колоколен в блеске... или это снежок сквозистый, облачка?.. Оно вливается потоком в окна, крепким, свежим, все заливая *новым*, даже глухие сени, где еще хмурый холодок зимы, где еще пахнет звездными ночами, мерзлым треском.

Мое родное, мое живое небо.

В витринах – груды яиц из шоколада, темных. Грузные они, повязанные лентами, немые. За окнами бистро⁶, на стойках, залитых вином, я вижу розовые яйца в вазах. Чего-то отзвук? Позабыто.

Далекое мое, в осколках.

Свежий запах – будто сырой бумагой, шуршанье серенького платья няни. Праздничное, еще не мытое, оно трет щеки. Воздух со двора, чудесный, свежий, перезвон веселый. Полог моей кровати дрожит, отходит, и голубое небо смотрит в блеске. И в нем – яичко, на золотом колечке, на красной ленточке, живое!..

Сахарное яичко. Здесь оно, со мной. Не потускнело, не побилось, на золотом колечке, в сердце... Прозрачно-серенькое, как снежок сквозистый.

Уходит праздник. Весна проходит, лето. Приходят ночи в бурях; хлещет в окна. Вот-вот погаснет огонек лампадки, и мои глаза, испуганные черной ночью, ищут... Где яичко?.. Вон оно, святое, у киота⁷. И мне не страшно. Свет от него, и ангел ласково глядит мне в сердце.

В детстве, когда бывало горе, я приходил к киоту и смотрел.

За голубым и розовым бессмертником, в комочке моха, в глубине за стеклышком, я видел: светозарный, с блистающей хоругвью⁸, воскресал Христос из Гроба. Я всматривался в эту панорамку до счастливых слез – и заливало светом.

Помню, говорила няня:

– В стеклышко-то гляди, да хорошенько... и увидишь.

– А чего, няня?

– Ангелочка. До-лго гляди, вот и увидишь живого ангелочка.

Я глядел долго-долго. В глазах мерцало, цветочки оживали, и в глубине, за ними...

– Вижу... живого ангелочка вижу!..

В горькие минуты я приходил к киоту – и смотрел.

Чудесное мое, далекое.



1929

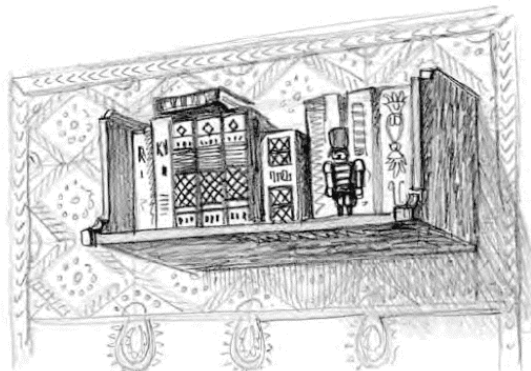
⁶ *Бистро* – закусочная, маленький ресторан (*фр.*).

⁷ *Киот* – ящик со стеклянной дверкой или большим окном, предназначенный для икон.

⁸ *Хоругвь* – знамя Христово (*гр.*). В IV в. император Константин Великий велел на своих воинских знаменах вместо орла изображать крест. Впоследствии на знаменах не только изображали крест, но и писали Спасителя, Богородицу, святых. Такие знамена несут впереди крестного хода.

Полочка

Из воспоминаний моего приятеля



I

У меня до сих пор хранится деревянная полочка, сделанная из стенки ящика, в котором когда-то лежали макароны. Стоит нагнуться – и увидишь подпись, сделанную густой черной краской:

Самые лучшие итальянские макароны.

Конечно, это не совсем красиво, но я ревниво оберегаю эту надпись, очень мало подходящую к тому, что хранится на полочке.

Книги и... макароны!

Но когда что-нибудь ярко-ярко освещает вам давно прошедшее, когда в серой веренице ушедших дней вспыхивает вдруг, как огонек во тьме, милый образ, дорого все, что вызывает его.

Вот почему дорога мне и эта надпись о макаронах: она напоминает мне о дяде.

Но буду рассказывать по порядку.

Впервые я увидел дядю, когда мне было лет девять. Мы только что приехали из другого города, где я родился, а дядя по старости не выезжал никуда и, должно быть, знал обо мне только по письмам. У нас часто говорили о нем, называли странным и «книжным» человеком, пожимали плечами и удивлялись, что он слишком много тратил на какие-то никому не нужные вещи. Я ждал с нетерпением, когда меня повезут к нему, но поездку откладывали со дня на день.

Случилось как-то, что нашего дворника послали к дяде с запиской, и я, потеряв терпение, не сказав никому ни слова, отправился самостоятельно. Это была дерзость, в которой я не раскаиваюсь.

У меня постукивало сердце, когда я поднимался по лестнице, но когда старичок-слуга снял с меня шубку и впустил в комнаты, я положительно потерялся. В комнатах совсем не было стен, по крайней мере я их не видел. Были пол, потолок, окна, двери и... книги. Они шли стройными рядами всюду, куда я ни глядел, в решетчатых полках, точно их собрали сюда со всего света. На самой крайней полочке, совсем под потолком, сидела большая головастая сова. В комнате стоял полумрак и было тихо, торжественно-тихо, как в пустой церкви.

В углу, у окна, в глубоком кожаном кресле сидел он, мой дядя, и держал книгу. На коврик, у его ног, спал крупный дымчатый кот.

Я стоял в дверях, не решаясь переступить. Дядя услышал шорох, повернул голову, и я увидел худое, плохо выбритое лицо и всматривающиеся усталые глаза. Казалось, он старался понять, кто я такой. Я шаркнул ножкой и поклонился. Дядя пожал плечами. Путаясь в словах, я объяснил, кто я такой.

– Поди-ка сюда, голова, – сказал он и поманил пальцем.

Я приблизился с чувством благоговения и некоторого страха.

– Вот ты какой, – сказал дядя и потрепал меня по щеке. – Каков, однако, ферт! Один заявился!.. Ну, здравствуй. Так это ты большой любитель чтения?

В тоне голоса я уловил похвалу и из скромности опустил глаза.

– Очень рад тебя видеть...

Из проволочной корзинки он достал яблоко и дал мне.

Через пять минут я был как дома, сидел на скамеечке, рядом с храпевшим котом, глазел на поразившие меня ряды книг.

Сова под потолком сидела по-прежнему недвижимо. «Она не любит дня, – раздумывал я, – и теперь присмирела, а вот наступит ночь, и тогда...»

– Ну, что ты читал, дружок? – спрашивал дядя.

Что я читал! Я сейчас же захотел показать дяде, с кем он имеет дело, и с жаром принялся перечислять, что читал.

– Я все-таки порядочно прочел, дядя, – говорил я. – Про «Заколдованную могилу», про «Храбрую шайку и атамана Кольцо», про «Солдата и семь разбойников», про...



– Тпррр... – остановил меня дядя. – Да ты профессор! Кто же тебе такие книги давал?

Это была моя тайна. У меня дома уже отобрали две трепаные книжечки и допытывались, откуда я их добыл. Но я не сказал. Я боялся, что их отберут и от нашего дворника, у которого я доставал их. Здесь же мне ничто не угрожало, я имел случай познакомить дядю еще с одним любителем чтения и моим другом и сказал откровенно:

– Мне давал их наш дворник Степан. У него их во-от сколько! – показал я руками.

– Так-так... Только все это глупости, – сказал дядя. – Надо читать хорошие книги, где говорится о жизни. Видишь, стоят они, – указал он на полки. – Каждая из них – часть сердца человека, которого называют писателем!

Я посмотрел на книги. В сумеречных тенях они уже сливались в сплошную стену.

– Книга не Петрушка, – продолжал дядя, тряся пальцем, – она не для смеху пишется! Она должна указывать людям, как надо и как не надо жить...

Я слушал и хлопал глазами. Оказывалось, мы со Степаном даром тратили пятаки.

Дядя подставил к книжной стенке лесенку и, кряхтя, полез кверху.

Мне показалось, что он хочет достать сову: она сидела как раз над концом лестницы. «Сейчас она обязательно шарахнется», – думал я, предвкушая развлечение. Но сова не шелохнулась, хотя дядя взял ее за ноги и передвинул. Тут я догадался, что сова не настоящая, а набитое чучело.

– А зачем у вас сова? – спросил я.

– Сова, брат, ночью не спит и во тьме видит. Вот она и сторожит всю эту мудрость, – постучал дядя по книгам. – Не веришь? На-ка вот «Сказки Андерсена», это будет лучше твоих «солдат» и «разбойников».

Должно быть, радость, которую я пережил в этот момент, отразилась на моей физиономии: дядя взял меня за подбородок и, глядя в глаза, сказал:

– Книжки, которые я буду давать тебе, можешь оставлять у себя. Пусть это будет началом твоей библиотеки. Пусть они будут твоими друзьями.

Как это было давно, но как до сих пор ярко встает в моей памяти!

В тот памятный вечер в моем сердце затеплилась искра. Почти строгий тон дядиных слов, когда говорил он о книгах, черные молчаливые ряды на полках и грустные сумерки – все это будило во мне тихое чувство благоговения.

Дымчатый кот проснулся и терся у ног. В комнате густились тени ночи. Они глядели из углов слепыми глазами. Я чувствовал их. Совы под потолком уже не было видно, только ряды книг еще поблескивали золотым тиснением.

Вошел старичок и зажег лампу.

– Ответа дожидается, с ими-то который пришел, – сказал он.

Я вспомнил о Степане.

– Позови сюда, – сказал дядя.

У меня заиграло сердце: сейчас войдет Степан и увидит все. «Разве он видал что-нибудь подобное?» – думал я. Чтобы показать ему, что я здесь как дома, я перебежал к стенке, отставил ногу и облокотился на книги.

Слышались осторожные шаги и покашливание. Степан остановился в дверях и высунул голову. Я заметил, как у него метнулись глаза, окинули полки и с почтением остановились на дяде. Он прямо впивался в него, с благоговением слушая о какой-то переносной печке. Но его левый глаз сильно косился на полки.

– Да... – вспомнил дядя. – Ты это давал ему книжки?

Степан съежился и искоса поглядел на меня.

– Так... баловство-с... пустые сказки-с...

Он оправдывался и продолжал коситься.

– И брось их! Любишь читать?

– Я... конечно... ежели от скуки, обожаю...

Дядя подумал и достал книгу.

– Почитай, только не мажь.

Надо было видеть Степана! Он подался вперед и вытянул руки, точно принимал благоговение.

Когда мы вышли на улицу, Степан сунул книгу за пазуху, в полушубок.

- Что, Степан? – спрашивал я, забегаю вперед и заглядывая в лицо. – Что, видел?
– Видел, – ответил он. – Откуда он их набрал?
– А ну-ка, покажи, про что?

Мы остановились у фонаря, и Степан вынул книгу.

- «Издание... третье...» Гм... «С пор-тре-том, гра-ви-ро-ван-ным...»

Степан посмотрел на меня, я на него.

- Должно, ученая книга... – сказал он. – Обязательно прочитаю.

После ужина я забежал в кухню. Разложив на столе полотенце и спустив руки на край стола, Степан читал при свете маленькой лампочки. На лбу его сверкали капельки пота.

- Что, Степан, интересно?

Он поднял голову и шмурыгнул носом.

– Дюже хорошо! – сказал он, вздыхая. – Про «Записки охотника»... Тут про нашу хрянскую жизнь сказано. Так, што это прямо что-нибудь особенное!..

- Ишь, весь стол захватил! – сказала кухарка. – Карасин тратишь...

Я сказал ей, что обязательно надо читать, – пусть она даже у дяди спросит. Степан сдвинул листок на другую сторону – он боялся замазать пальцами – и сказал:

– Это все дикое необразование. Книга надлежит для научного употребления, а карасин для света!

Я с ним вполне согласился.

II

Мне не запрещали бывать у дяди: он сам просил отпускать меня. И сколько славных вечеров провел я!

Сидишь, бывало, на скамеечке и слышишь покойный голос. С верхних полок глядят портреты писателей, глядят строго, точно думают большую думу. Дядя говорит мне о них, как болели они о людском горе, своими сердцами звали людей к лучшей жизни, указывали пути.

– Многие из них давно умерли, – говорил дядя. – Но все-таки они... здесь!.. Они молчат, да! Но стоит взять книгу, раскрыть – и они заговорят! Из черных строк заговорят!..

В тихие сумерки на меня наплывали мечты. Дядя иногда уходил к себе в кабинет, а я забирался в большое кресло и затихал. И казалось мне, что *они*... смотрят на меня с полок и молчат, думают, думают... Кот тихо мурлыкал у ног. Сова сторожила мудрость. Я осторожно слезал с кресла и на цыпочках подходил к полкам. И слушал, зажмурив глаза. Ползли минуты – и начинало казаться, что кто-то шепчет, шепчет мне что-то... Может быть, это постукивало сердце, может быть, доносилось мурлыканье кота, но чудилось, что кто-то шепчет...

Однажды дядя рассказывал мне, как он еще мальчиком начал составлять себе библиотеку, покупал и собирал книги. Я смотрел на полки, и вдруг во мне вспыхнула мысль. Я взял дядю за руку и сказал:

- Дядя, дайте мне ваш ящик!

Он с недоумением посмотрел на меня.

- Ящик? Какой ящик?..

Я объяснил, что видел в коридоре большой ящик, в котором, как я знал, привезли дяде книги. Это-то и было особенно дорого мне. Я сказал, что хочу сделать полочку и расставить на ней все свои книги.

- Так лучше я куплю тебе этажерку!

- Нет, дядя! – заупрямился я. – Я хочу полочку, как у вас... из вашего ящика!

Он назвал меня чудаком и позволил взять ящик. Помню, при свете лампы мне бросилась в глаза черная надпись:

Самые лучшие итальянские макароны.

– Мне бы только вот эту доску... – указывал я.

Почему мне понравилась эта надпись, не знаю. Может быть, я подумал тогда, что с этой надписью я никогда не забуду, где достал эту полочку. Мне отбили бочок с надписью. И в следующий мой приход дядя спросил:

– Ну, как твои «макаронны»?

Я рассказал, как ловко устроил полочку на гвоздях и бечевках и как вышло красиво. Должно быть, я очень горячо говорил, потому что дядя потрогал мой лоб и потрепал по щеке.

– И все еще есть свободное место?

– Да, дядя, есть. Но я пока поставлю толстые словари...

– Поди-ка сюда...

Он подвел меня к крайнему окну и показал пачку книг.

– Вот я отобрал тебе... для твоей полочки, макаронщик...

Он почти никогда не улыбался, но тут все его желтое морщинистое лицо осветилось такой улыбкой, на меня повеяло такой душевной теплотой, что я сразу понял, как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он черствый, «книжный» человек.

Он уселся в кресло и молчал.

Я гладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром. У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дядины дни «сочтены». Говорили о каком-то наследстве и капиталах.

В камине догорали дрова. На стеклах лежали багровые от огня, сверкающие узоры мороза. Не знаю, как это вышло, – около щеки я почувствовал холодную ладонь. Я заглянул дяде в лицо, и у меня сжалось сердце: в лице его я видел выражение мучительной боли. Я опять вспомнил о его болезни, и в тишине и полутьме комнаты почудилось мне, что вот-вот надвигается что-то неотвратимое...

Я взял его руку и поднес к губам. В груди стало тесно-тесно, закололо в глазах.

– Дядя!.. – выкрикнул я, задыхаясь и стискивая зубы.

– Что с тобой, Шура? Что ты?.. – тревожно спросил он.

Я не мог говорить. Я чувствовал, что сейчас расплачусь.

– Ну что, мой мальчик? Ну что ты? Чего ты испугался?

Он гладил меня по голове. А я держал его руку, уткнувшись носом в ручку кресла, и чувствовал, как по щекам ползут капли.

Понял ли он, о чем я плакал?

– Ну вот... – говорил он. – Теперь у меня завелся маленький друг...

Я слышал, как он вздохнул.

– А есть у вас еще друзья? – спросил я, польщенный, что дядя назвал меня своим другом.

– Были... и... умерли... – сказал он и сморщил брови. – Вот теперь мои друзья, – указал он на книги. – Это, брат, самые верные друзья!..

Я глядел на книги, на портреты. Дедушка Крылов, освещаемый вспышками угасающего камина, казалось, подмигивал и говорил: «А ведь он прав, братец!»

С шорохом поползла сломившаяся в середине головешка, дядя шевельнулся и тронул меня за плечо.

– Вот что, дружок, – сказал он. – Видишь эти две полки у окон?..

– Вижу, – сказал я.

– Ну вот... Здесь собраны все наши родные писатели... самое дорогое, что у меня есть...

Это твои полки. Помни, они твои!

– Мои?.. Все эти книги?!

– Да! – как-то особенно веско сказал он. – Я... *отказываю их тебе.*

Он вынул записную, с золотым обрезом, книжечку и стал что-то писать карандашом.

– Ты получишь их.

«Отказываю»... Я понимал грустный смысл этого слова. Хотелось плакать, и все же что-то отвлекало меня. Мои книги! Их было так много! И все были в чудесных – красных и зеленых переплетах с золотом!

– Дядя, – тихо сказал я, – это очень много... Мне бы хоть одну полку и...

– Что?..

– Сову... Мне страшно хочется... сову!..

– Сову?.. Ну что же... – Он поглядел кверху. – Возьми сову. Можешь взять и теперь...

Он позвал старичка и велел снять сову. Ее сняли и долго чистили щеточкой и вытирали глаза. Она была великолепна со своими желтыми зрачками и загнутым, вдавленным носом.

За мной, по обыкновению, прислали Степана. Мы шли домой торжественно, я нес связку книг для пополнения полочки, а Степан сову.

У фонарей нас останавливали прохожие, глазели на сову, а некоторые даже приторговывались, но Степан кивал на меня и говорил важно:

– Не продажная. Эта сова знаменитая!..

– А что?.. – допытывались любопытные.

– А то! Это сова... научная... из собрания книг! Такая, братец мой, сова-а... так это прямо что-нибудь особенное!..

Ш

Дня через два после этого, в воскресенье утром, я собирался идти к дяде, как к нам в столовую вошел дядин старичок, покрестился на образ и, глубоко вздохнув, сказал каким-то деревянным голосом:

– Барин... Михал Василич... приказали долго жить...

Не выдержал и заплакал.

– Нащот распоряжений как... Я их одних в квартире запер... – говорил старичок, тыча в глаза комочком платка.

Это известие никого особенно не потрясло: все знали, что дядя скоро умрет. Я не плакал. Я точно застыл. Помню, стоял у притолоки⁹ и глядел на подрагивающую бородку старичка. У меня дергался глаз и стучало в висках. А старичок рассказывал, что дядя помер внезапно, ночью, один на один с Господом Богом.

Помню, я ушел к себе на кровать и сидел, перебирая край одеяла. «Дяди нет», – говорил я себе. Поднял голову. На меня глядели черные буквы:

Самые лучшие итальянские макароны.

Брызнули слезы: я вспомнил все. Эти буквы своим черным светом сразу осветили мне все минувшее: дядю, разговоры, его голос, желтое лицо, все мелочи. Я видел полки с книгами, тихие сумерки и пурпурные угли камина. Я видел так ясно все, что еще так недавно открыло мне какой-то новый мир – мир живых книг. Да, я уже знал, что они живые. За ними я видел людей. Я знал их. *Они* глядели на меня там, с высоких полок! *Они* втиснули свое сердце в черные ряды строк на белой бумаге. Эти строки сложили в правильные ряды, бросили печатным станком на страницы, и вышла книга.

Моя полочка! С нее, с этой шершавой доски, тоже глядели на меня живые книги... А я плакал.

Старичок собирался уходить, когда я вышел из своего уголка. Он, конечно, видел мои заплаканные глаза, покачал головой и сказал:

⁹ *Притолока* – верхний брус в дверях.

– Что ж плакать-то... Призвал Господь... Царство небесное... Работали много – теперь отдыхать Господь призвал.

Я с удивлением взглянул на старичка.

– А разве он что работал? – спросил я.

Я думал, что «работать» можно топором, пилой, быть кузнецом, пахать землю, служить в дворниках.

– А как же-с... У себя за столиком... писали-с... в разные ученые журналы. До петушков иной раз... Обложатся книжечками и пишут-с... Ну и перекипело у них в нутре-с – не выдержало.

Дядя тоже писал!.. Никто никогда у нас не говорил об этом.

– Они даже очень знамениты были! – продолжал старичок. – Даже такая книга есть, где о них сказано.

Дядя писал книги!.. Значит, он не совсем умер?.. Это вспыхнуло во мне и осветило, и согрело. «Он все-таки жив, – говорил я себе, – и наши не знают этого». Я сделал это своей радостной тайной и решил не говорить никому. Все равно никто не поймет этого.

Долго спустя я нашел то, что писал дядя. Это был ряд статей в журналах, статей о книгах.

Послали телеграмму дядиному брату. Только теперь узнал я, что у дяди был брат. Он всегда проживал в каком-то далеком городе, где вел торговое дело, и только последнее время, предупрежденный о тяжелой болезни брата, жил в нашем городе. У дяди он никогда не бывал. Это я узнал из разговоров. У нас говорили о наследстве, о капиталах, и кто-то сказал:

– Интересно, оставил ли он завещание?

Вечером мы были на панихиде. Дядя в голубом халате лежал на столе в хорошо знакомой мне комнате, где стояло его кресло. Теперь его вынесли, чтобы оно не мешало. Читавшая монахиня погладила меня по голове и подняла кисею, закрывавшую дядино лицо. Оно было такое же, как и при жизни, только стало как-то светлее. В руках, в которых я привык видеть книгу, был образок. Дымчатый кот терся о ножки стола и смотрел на меня, точно хотел сказать, что все кончено.

Казалось, все изменилось в квартире, – только ряды книг по-прежнему чинно стояли, точно для них не могло быть конца. Вдумчиво, как всегда, глядели с высоты портреты писателей, отражая в стеклах дымящие огоньки свечей.

Я взглянул на свои полки. Я унесу их из этой осиротевшей квартиры в свой тихий уголок! С ними я унесу все, что пережил здесь.

Высокий старик с насупленными бровями стоял у окна и разговаривал с юрким, вытягивавшим шею человечком. Он держал себя здесь как хозяин. Это был дядин брат. На моих глазах он вытащил из моей полки книгу и, держа ее, как пюпитр¹⁰, писал что-то на листке бумаги.

– Да, да... но без балдахина. Сейчас же распорядиться!..

Да, он был здесь хозяин. Его все называли наследником. Ему принадлежало здесь всё; всё, за исключением моих двух полок. Он были отказаны мне.

Он швырнул мою книгу на окно и прошел в другую комнату. Что было со мной! Он швырнул мою книгу! Дядину книгу!

Я подошел, взял ее и раскрыл. Гоголь! «Мертвые души»... Он швырнул Гоголя! Я уже знал о нем, «бессмертном», как говорил дядя.

Невольно я поглядел кверху и отыскал знакомый портрет.

Милый Гоголь глядел с посмеивающейся улыбкой из-под прядки волос. Я бережно поставил книгу на место.

Знакомые и незнакомые люди ходили вдоль полок и с любопытством разглядывали книги, показывали пальцами на портреты писателей и путали: они Гончарова принимали за

¹⁰ *Пюпитр* – подставка для нот или книг в виде наклонной доски на ножке (*фр.*).

Тургенева и Пушкина смешивали с Жуковским! Только небольшая группа совсем незнакомых мне людей держалась особняком. Они принесли фарфоровый венок с лентами, ни с кем не здоровались и сейчас же после панихиды ушли. Их знал только дядин старичок.

– Тоже в журналах пишут, – сказал он.

Я с благоговением посмотрел им вслед.

IV

Проползли два томительных дня. Дядю похоронили. В большой комнате, где недавно стояло тихое кресло, теперь гремели тарелками, кушая блины и кисель. Высокий человек, дядя-наследник, распоряжался. Хлопали пробки, пахло ладаном и воском. Озабоченные официанты обносили заливной рыбой. Кто-то шепотом возле меня говорил о капиталах...

А тысячи книг смотрели на все с холодным спокойствием.

Первая острота потери прошла: я смотрел на отказанные мне полки и считал корешки. Много я насчитал за время обеда – что-то более пятисот. Красные и зеленые корешки сливались, я путался и считал снова.

После обеда, когда все стали расходиться, я понял, что более не попаду сюда. В последний раз окинул я взглядом стройные ряды книг и остановился на моих полках.

«Когда же дадут мне их?» – спрашивал я себя.

– Чего же ты стоишь? – окликнули меня из передней.

Я указал пальцем на свои полки.

– Дядя отказал мне их... Это мои книги! – сказал я.

Затихавшее чувство утраты поднялось снова. Мне чувствовалось, что я опять что-то теряю. Не книги как ценность, – я не умел тогда оценивать на рубли, – мне дороги были они как *дядины* книги.

– Тише... Что ты болтаешь?.. Какие книги?..

Я знал, что не болтаю.

– Эти книги отказал мне дядя! Он даже записал в золотую книжку!..

Дядя-наследник говорил что-то бойкому человечку, что-то записывал и распоряжался. В руке у него была знакомая книжечка с золотым обрезом. Не раздумывая, я подошел к нему, выждал, когда он перестанет говорить, и осторожно потянул его за сюртук.

Он обернулся и посмотрел на меня.

– Тебе что, мальчик? – спросил он сухо.

– Книги... – забормотал я, – вон те книги... две полочки... дядя сказал... записал... в книжку...

– Ах, не мешай ты!

Он отвернулся и, постукивая длинным пальцем по книжечке, сказал кланявшемуся человечку:

– Представьте самый подробный счет расходов... и документы!..

Меня потянули за руку. И я ушел.

Больше я не был здесь и не видал дядиных книг. Я слышал, что их стащили с полок, запаковали в кули и продали торговцу книгами.

Где теперь они? Я часто думаю об этом. Где они, так лелеемые когда-то?! С них ежедневно стирали пыль. Они стояли такими стройными внушительными рядами, казались мне полными скрытой великой силы. Они были так же чисты, как и вписанные в них мысли!

Может быть, их вывезли на рынок, и они разбились по уголкам и полкам... Может быть, попали на чердаки и в подвалы, на непокрытые столы, на которых никогда не лежало книги... В корявые, мозолистые руки, как руки Степана... В занесенные снегом деревни...

А может быть, и до сих пор распродают на рынках и мокнут под дождем в связках...

Не знаю.

Раньше я жалел, что они разлетелись, а теперь, теперь я понимаю, что лучше, чтобы они ходили из рук в руки и говорили так, как они могут говорить, – мыслями, втиснутыми в черные строки...

Да, у меня не было книг в роскошных переплетах, двух полок, отказанных мне дядей! Но у меня осталась полочка... «макаронная» полочка! Стоило взглянуть на нее, на десятка три книг, на сову, оберегающую мудрость, – передо мной ярко-ярко вставал дядя...

Самые лучшие итальянские макароны.

Да, немного смешно... Но и теперь еще розовым облаком подымается прошлое, и на глаза набегают сетка...

А Степан все еще читал «Записки охотника»...

Вскоре после похорон дяди он как-то остановил меня и сказал:

– А с книгой-то как быть?.. Кому ее теперь?

– Да разве ты ее не прочел?

– Прочешь-то я ее прочел... только я ее сызнова, в третий раз читаю... Вот какое дело...

Так мы и не додумались.

Как-то вскоре заехал к нам дядя-наследник. Я вспомнил о книге, взял ее у Степана, и, когда дядя-наследник пил в зале чай, я положил ее перед ним и сказал:

– Это книга дядина. Он давал ее читать нашему дворнику Степану.

Дядя-наследник повертел ее, прикинул на руке и сказал:

– Куда она мне!.. Возьми ее себе... на память.

Я шаркнул ножкой и отправился в кухню.

– Степан! – торжественно сказал я. – Вот тебе от дяди... на память!

Он взял ее обеими руками, долго вертел и оглядывал:

– Вот буду помнить старичка... Царство ему небесное... Какой человек-то был! – сказал он с чувством. – Такой человек... так это прямо... что-нибудь особенное!



Последний выстрел



I

Теперь я могу отдохнуть месяца два, встречать июньские зори на Оке, дышать в лугах, слушать тихий звон бора.

Налегке еду я в маленькую слободу под старым монастырем. Там, за стенами, чинно ступают черные монашенки, тысячи грачей и галок гомозятся на кровлях, а кругом звенит иглами вековой бор.

Вот и слободка. Она укрылась от городка стенами леса, она глядит на луга и Оку. Я поселяюсь в уютном домике, на самом краю поселка. Над моей крышей вековая сосна протянула корявые ветви.

Ясное июньское утро. Я открываю окно в бор. Он приветствует меня ароматом смолы, звоном вершин, стуком дятла и серебряным выкриком ястребов. Я вижу их плавный полет в синеве. Под окном слышу я хорошо знакомые мне голоски корольков¹¹. Это мои питомцы.

В маленькой городской комнатке появились они на свет из простенького инкубатора, росли в вате, в коробке из-под печенья, привыкли к моим шагам, голосу, к лампе. Днями сидели они у меня на плече или устраивались вечерком поближе к огню и засыпали, положив на шейки друг другу свои пучеглазые головки. Когда я покидал город, я не мог оставить их, подарить, бросить. Они приехали со мной в коробке из-под печенья и теперь важно разгуливают под окном, греясь на солнышке.

В синей блузе и соломенной шляпе брожу я по бору, засиживаюсь на пеньках, на полянке, где так густо пахнет смолой и выжженный мох под ногами прячет столетние корни.

«Пы-ыррль... пы-ы-р-р-р-л-л-ль»...

Над моей головой кружатся ястреба, плавают, не двигая крыльями. Это хозяева бора. Десятки огромных гнезд прячутся в густых вершинах, и только по перьям задранных птиц и рыбьим костям на земле можно заметить убежище хищников. Я люблю смотреть, как, усевшись на самую вышку сосны, сторожат они зарю, окидывая пространство.

Да, это настоящий ястребиный бор. Странно, как еще осмеливаются постукивать по дуплам пестрые дятлы, пробуют петь молодые дрозды, вскрикивают желтогрудые иволги. Конечно, в полутемном бору ежечасно разыгрываются птичьи драмы: нет-нет – пискнет в последний раз бойкая востроносая синичка, или чвокнет врасплох попавшийся дятел, но эти крики тонут в звоне вершин и победных звуках ястребиного «пырльканья».

Часто отправляюсь я на Оку с Семеном Федорычем, монастырским дьячком¹², ловить окуней под железнодорожным мостом. Солнце печет, перекликаются плотогоны, а белые чайки рядками сидят по отмелям. Какое приволье! Пузатые лошаденки тянут берегом баржи, и чер-

¹¹ *Корольк* – здесь: птица или зверь чистого белого окраса.

¹² *Дьячок* – чтец в православной церкви, иначе псаломщик. Его облачение по виду совпадает с дьяконским, только без ораля – длинной ленты, являющейся принадлежностью богослужебного облачения дьякона. Дьячок не имеет степени священства.

ный канат, вздрагивая, плывет над нашими головами. Солнце – отвесно; полдень, пора заку- сить. Мы бьем о борт лодки печеные яйца, посыпаем грязноватой солью из какой-то жестянки, и дьячок начинает мечтать об охоте: скоро Петров день¹³.

– А вы как? Обзавелись ружьишком?

– И не стрелял никогда.

– Да неужели? Да тут, я вам доложу, на лугах, да болотах, да к озерку-то такая прорва утки этой – сила несосветимая... Нырок, кряковая... а чирят этих – тучами!.. – соблазнял меня дьячок. – А коростели к осени! Господи! А дроздов по осени в рябинниках... а курочки! а кулички!..

– Нет уж... я люблю вот на удочку...

– И напрасно. И очень даже напрасно... Гуси бывают! Тетеревов в дальнем бору – тьма! Сами лезут под ружье... Так вы что же это... из убеждения, что ли, не стреляете-то?.. Бывают такие...

– Как сказать... Отчасти, пожалуй...

– Та-ак... И что я вам объясню... Утки переводиться стали... – с грустью сказал дьячок, забыв, что только что говорил о «силе несосветимой». – Ястребов развелось – весь бор заволо- нили. И вот как глушат... прямо непостижимо! И чешутся руки, да зазорно... Монашки наши жалеют, мать игуменья... Монастырский бор-то... «Тварь, – говорят, – у нас убежища ищет, под благословением обитателя гнезда вьет»... А эта тварь дичь бьет!..

Со стороны монастыря докатывается до нас первая «повестка» к вечерне. Это мать Пела- гея призывает дьячка с реки.

– В самую бы пору ловиться теперь... Э-эх!..

Вечера провожу я на опушке бора, где он спускается к озеру. Здесь столпилась целая роща засохших сосен. Им мешает жить стадо, укрывающееся в жаркий день. Почва вытоптана вокруг, с сосен упала кора, и голые сучья уныло тянутся в небо. На них отдыхают обитатели бора – ястреба, провожают вечернюю збрю.

В темнеющем небе вижу я их. Сидят, обратив клювы в сторону запада, еще играющего червонными лучами. Тихо. Редко-редко хрустнет сучок. От кутающегося в тумане озера доно- сится тоскливый разговор камышевки, той неизвестной птички, которая, как описывает в одном из своих рассказов Чехов, спрашивает себя печально: «Ты Ни-ки-ту ви-дел? – и отве- чает: – Ви-дел... видел... ви-дел...»

Перестали шептаться с ветром вершины сосен, бор задремал... и вот, последний свиде- тель уснувшего дня, прямой линией, как стрела, протянул с лугов запоздалый ястреб.

II

Мои милые бедняжки короляки! Кажется, я совсем позабыл их. Они отлично знают, где окно моей комнаты, и целый день толкуются здесь, вытягивая шейки, стараясь заглянуть. Не видя меня, они начинают пищать, как пищали когда-то от холода в коробке из-под печенья, просясь на руки.

Да, это чистые ребяташки, круглые, как яблочки, белоснежные, как сливки. Они при- выкли засыпать на моем плече, забираться в рукав и своими тонкими песенками выражать полное удовольствие. Теперь им скучно, и потому так грустно стоят они под окном, вытягивая шейки. Утром они ждут хлебных крошек и, когда я появляюсь на крылечке террасы, снежными комочками подкатываются к ногам, прыгают и хлопают еще слабыми крылышками, стараясь взлететь на плечо.

¹³ *Петров день* – 12 июля по н. ст., день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот день означает окончание Петровского поста.

На днях один из них издал смешной крик, похожий на «ку-ку». Очевидно, один – петушок: он несколько больше и сильнее своей подружки. Он очень смешно разгребает лапками землю, чиркает носом по лапке и вообще проявляет наклонности покровителя своей скромной подружки. А та, еще слабенькая и пугливая, ходит всюду за ним и выбирает что-то из взбитой им кучи сора.

Вчера я вернулся домой поздно и не нашел королек в их убежище, в корзине из-под белья.

Я встревожился, оглядел все закоулки двора и вошел в комнату. Да, они здесь! Они спали, усевшись по краям дорожного чемодана, словно указывая этим, не лучше ли ехать отсюда, опять в свою комнатку, где так хорошо жилось у печки или возле лампы. Они, плуты, влетели, конечно, в окно и хотели напомнить, чтобы я не забывал их. Я оставил их спать, и ранним утром один из них разбудил меня своим звонким смешным «куку». Ах, злодей! Этот разбойник назойливо требовал исключительного внимания. Он хотел видеть меня всегда и в четыре утра требовал, чтобы я не лишал его солнца. Ну что же! Я не замедлил вскочить и выкинуть в окно этих ранних любителей природы.

«Ку-ку!»

Это «ку-ку» я слышал в последний раз. Точно он забрался ко мне для того, чтобы проститься совсем.

III

Утром я пью чай на открытой терраске и читаю. Мои маленькие надоеды, по обыкновению, торчат под ногами, вскакивают на стол и тычутся носами в сливки; они бродят по сахарнице, щиплют хлеб и заглядывают в блестящие бока самовара. Они воображают, что все это устроено для них и мои плечи и голова должны заменять им насест.

Я читаю, не обращая внимания на назойливость, но, когда один из комочков опрокидывает мне на колени стакан, я быстро принимаю меры и выбрасываю надоед за заборчик, во двор.

«Пырлль... пы-ы-р-р-рлль»...

А, это властные хозяева бора приветствуют меня из синева. Что-то глухо шуршит по железной крыше – должно быть, ребяташки бросаются комьями глины. Да, конечно, они. Они что-то кричат за забором. Что-то широкой тенью пронеслось надо мной, что-то пискнуло.

Что такое? Со всех сторон закричали тревожные куриные голоса – и снова широкая тень. Я поднимаю голову. Громадный ястреб спокойными, ленивыми взмахами подымается в небо, тянет над бором. Крики ребят, всегда наблюдающих за мною в щель забора, смешиваются с кудахтаньем растревоженных кур, и ясно выделяется чей-то визгливый голос:

– Унес!.. Унес!..

Я выбегаю во дворик. Куры жмутся у стен; петух, какой-то весь встрепаный, бегаёт по двору, раздраженно перебирая ногами. Где корольки? Их нет... Я заглядываю в сарай, осматриваю углы – нет. Я выбегаю во двор. Из-под опрокинутой тачки пугливо выглядывает маленькая беленькая головка с едва намечающимся пунцовым гребешком...

– Цып-цып...

Но королек застыл, не выходит и даже не поворачивает головы. Теперь я понял все! Моего петушка, что сегодня на зорьке разбудил меня своим смешным «ку-ку», нет. Теперь он – там, в бору. Его подружка видела все, слышала последний крик и теперь дрожит под опрокинутой тачкой.

– Твоего уволок, махонькой-то который... Я видал, и Андрюшка видал, как он его ухватил... Как сгребет!..

– И я видал!

Ребятишки виснут на заборе и спорят.

– Мишка-то тебе кричал, как он на крышу-то присел!..

Я стоял во дворе среди затихавших куриных криков. Я был потрясен, точно потерял самое близкое. Да, близкое. Мой королек был, действительно, мой, близкий мне. Я дал ему жизнь. Из мертвого яйца терпением и любовью я вывел живое существо, полюбил и заставил полюбить себя. Мой королек делил со мной вечернюю грусть, засыпал на плече, попискивая над ухом вечернюю песенку сна. И нет его. Злая сила вырвала у меня кусочек моего сердца и теперь не раздумывая рвет где-нибудь на высокой сосне снежные перышки, запускает железный клюв в трепетное еще тело.

Я безнадежно смотрю в небо, гляжу на вершины бора. Он по-прежнему звенит иглами, и солнце по-прежнему печет и светит. Как будто ничего не случилось.

– Побегём, Мишка!.. Сенька, бегём! – слышу я.

Они бегут в бор. Я забываю испуганного королька и спешу за ними. Между стволами мелькают розовые рубашки, слышны перекликающиеся голоса...

Я хорошо знаю бор, знаю любимые места хищников. Мелкий соснячок. Я продираюсь, ломаю отсохшие, хрупкие ветки, топчу обглоданный скелет задранной галки, вспугиваю сереньких болтливых дятликов, ищу белые перышки. На вершине усохшей сосны, изъеденной червями и избитой носами дятлов, замечаю я ненавистную мне теперь фигуру ястреба. Он, кажется, дремлет под солнцем или притворился, высматривая кое-что. Я сжимаю кулаки, ищу, чем бы ударить спокойную птицу.

По лесу мечутся ребятишки, кричат что-то. Я иду на их голоса.

– Здесь! Здесь!.. Во-он... полетел... Да вон там!..

Все столпились на небольшой полянке, что-то рассматривают, трогают...

Да, здесь был он и спокойно доканчивал королька. На сухой хвое нежные белые пушинки шевелились под ветерком. Мишка держал в руке уцелевшее снежное крылышко.

– Эва, как обработал-то...

Я взял крылышко и молчал.

– Вон он... во-он!.. – крикнул кто-то.

Мы все подняли головы.

Над вершинами, высоко в синеве, плавно кружился ястреб, звучно выкрикивая переливчатое «пы-ырррль... пы-ыр-р-р-ллль»... Был ли это он, не знаю. Но теперь для меня все они стали равны.

– Эх, ружье бы!.. Цопнул бы я его! – сказал Мишка.



Я взглянул на Мишку. Его загорелое лицо с сжатыми оскаленными зубами изображало непреклонную волю.

– Что, жалко? – спросил я, пряча в карман белое крылышко.

– У них он тоже одного схватал намеренно... – сказал один из ребят.

– Жалко не жалко, а уж... цопнул бы!.. Сссс...

Он вытянул руки и присел.

– Во-он... во-он сидит... за суком-то... – зашептал он. – Да вон, за той сосной-то...

Мы все присели. Теперь я видел его, совсем близко, шагах в пятидесяти. Меня влекло к нему что-то – желание ближе увидеть своего врага. Да, это уже был мой враг, тот ли самый – не знаю, но это уже был враг. Я подходил ближе, ближе; я видел желтоватые ноги, пестрое брюхо, всю красивую сильную фигуру. Он, должно быть, тоже заметил меня и не боится, внимательно поглядывая сверху. Он словно смеется надо мной, чувствуя себя недоступным.

– Еще вон! – шепчет кто-то за моей спиной. – Их тут страсть...

Я смотрел, и на сердце у меня кипело.

– Они теперь и другого стащат... вот посмотри... обязательно!.. – сердито говорит Мишка. – Уж теперь он углядел... не миновать... А вот взять бы да как зачать из ружья!..

Мишка словно читал мои мысли. Теперь-то я знаю, что мне делать... знаю... Если бы эти пестрые хищники знали, что ждет их, они не посмели бы даже взглянуть на моих корольков, не сидели бы так спокойно в вершинах, щуря подрагивающие глаза на солнце.

Я уже не смотрел на него, я угрюмо глядел на играющие под ногами от ветра пушинки, я ощупывал белое крылышко, еще час назад приятно щекотавшее мои щеки.

Война!.. Война не на жизнь, а на смерть! Здесь, на полянке, впитавшей последние капли крови моего королька, я решил... Мой бедный корольек! Я заставлю их долго помнить тебя! И вы, безвестные пичужки, славки и малиновки, дятлики, беззаботно порхающие в кустах; вы, звонкие иволги и синички, уже обреченные на гибель; хлопотливые простоватые дятлы и беспомощные утки, – теперь вы скоро будете спать спокойно! Теперь...

– Семен Федорыч дома?

Я стою под окнами дьячка и взываю.

– Дома... он самый... Здравствуйте! За рыбкой, что ли?.. А не жарко?..

– Нет, не за рыбкой... Будьте добры, дайте мне ваше ружье...

– Ружье? Да ведь вы...

Он удивленно смотрит на меня и как будто посмеивается.

– Да, да... и все прочее... но дайте мне ружье!

Он морщит лоб, отчего лицо его принимает свиное выражение, и еще внимательнее всматривается. Вот чудак!

– Да ведь до Петрова дня нельзя...

– Знаю, знаю... Это не имеет значения...

– Извольте... – цедит он сквозь зубы, поводя плечом. – Мне что!.. Только хищников разрешается... ястреба там...

– Вот именно!

Он напомнил мне о корошке.

– Ну давайте же ружье, чего вы!..

– Ого! Всурьез дело пошло. Ну-ну... Значит, постреляем теперь...

Он засмеялся, скрылся вглубь комнаты и сейчас же вышел на крыльцо со своей дешевой двустволкой.

– Штучка!.. А справляться-то умеете?.. Вот здесь вот... сперва...

– Знаю, знаю... спасибо.

– Счастливого поля! – крикнул он мне вслед. – Лисицу ежели – пополам!..

Смейтесь, смейтесь, почтеннейший! Мне не до смеху. Я знаю, что там, запертый в комнате, меня уныло встретит одинокий королек, моя бедная сирота.

IV

Все брошено и забыто.

И свежие утра на окраине бора с деловитым постукиванием дятлов, с тихим гулом вершин; и жаркие полдни на Оке, в легком челночке за рыбной ловлей; и задумчивые вечера на лесных полянах, грустные сумерки, наползающие из-за потемневших стволов. Забыт и пугливый королек, теперь уныло просиживающий на замке дни и ночи и удивленно засматривающий под дверь.

Он, кажется, недоумевает, почему не выпускают его на волю; он – я уверен в этом – сердится на меня, не так охотно идет на руки, дичится и при моем приближении уходит под стол.

Все брошено и забыто. С утра и до ночи в тиши и глуши бора гулко прокатываются выстрелы. Я вижу только черные гнезда в вершинах; я высматриваю птички и рыбы кости на мягком ковре хвои; настороженным ухом ловлю властные крики из синевы, ощупываю взглядом сухие вершины – сторожевые пункты их. Я подстерегаю их сон, оплошность, минуты отдыха после кормежки.

Мишка – ему лет двенадцать – неотступно сопровождает меня, ползает по кустам, выискивает, как хорошая гончая, прячется за стволами, чутким ухом ловит далекое – «пы-ырылль... пы-ы-р-р-л-л-ль»...

Ага! В этих криках я уже не слышу прежней силы и безмятежного торжества. Они уже поняли, в чем дело, они уже недосчитываются кое-кого. Они не сидят так спокойно на обнаженных вершинах. Еще недавно я мог спокойно целиться в пеструю смелую фигуру, точно в мишень, в то время как гордая голова презрительно засматривала вниз, на вытянутую кверху стальную трубку. Но теперь... теперь они приняли вызов и пускаются на уловки.

Лишь только я вступаю в бор в своей синей блузе и соломенной шляпе, первый попадающийся мне на глаза хищник уже гремит из синевы на весь бор тревожным криком и крутыми

изгибами исчезает быстро-быстро. Да, они знают, что я их враг. Они знают, где я живу, и, по словам Мишки, уже не залетают в слободку. Для них есть кое-что страшное там. Они, конечно, уже разглядели гигантские крылья своих сородичей, развешанные на стене сарая, – мои трофеи. Они, конечно, не могли не заметить старого ястреба, подвешенного на высоком шесте в маленьком дворике, где когда-то беззаботно играли два снежных комочка – мои корольки.

Каждый вечер забираются ко мне во двор ребятишки, разглядывают широкие крылья, еще недавно рассекавшие воздух, гордо распластанные над вершинами бора, теперь подсыхающие на солнцепеке. Они трогают их руками, удивляются, делают замечания.

– Двадцать первый! Вот так мы!! – горделиво сказал сегодня утром Мишка.

Да, в бору реже раздаются звонкие крики, – реже и глуше. Бор вымирает как будто. Но зато ранними утрами звончей кричат милые иволги, с большим спокойствием и деловитостью стучат по дуплам дятлы.

Теперь я решаюсь выпускать мою сироту во дворик, и она прохаживается вдоль заборчика, смешно разгребает лапками землю, а десятки гигантских крыльев недвижно глядят на нее со стенки сарая.

Жгучее чувство утраты моего королька постепенно гаснет в моей душе, но я все еще охвачен непонятым азартом. Я увлечен войной, со всеми ее хитростями и уловками. Между мной и ими протянулась невидимая связь взаимного наблюдения, азарта с одной стороны, страха и ненависти – с другой. Да, ненависти... В криках их я слышу тревогу, злобу, ненависть. Они признали мою синюю блузу, и я меняю ее на пиджак, а соломенную шляпу на фуражку. Я все еще терпеливо, часами, просиживаю в молодых зарослях и жду наступления вечерней зари, когда уцелевшие хищники осторожно, с трусливым и жалобным посвистываньем спешат навесить покинутые на день гнезда.

– Однако! – сказал как-то Семен Федорыч, завернувший ко мне попить чайку. – Как вы их! На будущий год, гляди, и гнезда бросят... А молодые-то уж вывелись, поди... Раньше бы вам захватить.

– Молодые?.. Какие?..

– А птенцы-то!..

Птенцы... Я точно забыл, что ведь и у них есть птенцы...

– Чего там, – вмешался в разговор Мишка, относивший и к себе часть успехов. – Подохнут они теперь...

Подохнут...

Я точно забыл, что действительно птенцы могут «подохнуть», как сказал Мишка.

Я сидел, задумчиво помешивая ложечкой в стакане. Мишка сосал сахар, причмокивая и обжигаясь чаем. Семен Федорыч рассматривал громадные крылья, только что подвешенные на стенку.

– Эге! Да вы подсокола цапнули! Ей-богу, подсокола... Я ж говорил – застреляете!.. Только первую убить, а там... Прошел я сегодня по бору... Ни единого-то ястреба не видать... Перебрались куда, что ли.

Он взглянул на стенку и замолчал.

– Вот куда перебрались! – сказал Мишка. – Теперь кур драть некому...

V

Ночи я сплю плохо последнее время. Какое-то томление иногда овладевает мной, не то тоска, не то какая-то неясная дума. Просыпаюсь я рано, и первое, что вижу, – это король-сирота, еще дремлющий на моем чемодане. И мне становится как-то покойно, мирно. И я говорю себе: скоро мы поедем домой, в свою забытую комнатку на третьем этаже. Но стоит

выйти на крылечко, как десятки крыльев напоминают мне о последних днях... Нет, их надо убрать!

Я зову хозяйку и прошу снять крылья.

– Да куда их, батюшка? Кому такого добра надо!..

– Ну, спрячьте куда-нибудь, унесите...

Мне стыдно было сказать: бросьте.

Она покачивает головой, точно раздумывает, куда бы их унести.

Вечером я пил чай, чувствуя себя спокойнее: крылья и старый ястреб были сняты.

Но я все еще продолжаю уныло бродить по бору, уже без прежнего азарта. И Мишка уже не так настойчиво советует мне посторожить на полянке, пока он будет рыскать по опушкам. По привычке я еще таскаю за плечами ружье.

Сегодня я случайно наткнулся на молодого ястреба. Он сидел шагах в двадцати и, глупый, с любопытством вглядывался в меня, тараща круглые глаза и постукивая желтым клювом. Машинально я поднял ружье, вспомнил... и опустил.

– Пте-нец... – протянул Мишка, хлопнул в ладоши и испугал птицу.

– Да, птенец... – сказал я.

Уже зашло солнце; сгущались тени в бору, сливались вершины. Смолой тянуло из бора, душным теплом нагретого за день воздуха, точно старый бор спешил выдохнуть из себя тяжкий жар и втянуть с лугов медовые запахи скошенных трав. От задремавшего озера, из камышей, доносился до нас печальный вопрос камышевки, а в глуши что-то поскрипывало в полутьме, должно быть усыхающая сосна. Мирные думы дремали в душе... И вдруг, недалеко от нас, что-то отчаянно пискнуло и умолкло.

– Он! – вскрикнул Мишка.

Его лицо перекопилось. Он весь насторожился.

Снова пронзительный писк.

– Дерет!.. Ей-богу, дерет!..

И Мишка юркнул в кусты жимолости.

Да, без сомнения, это был крик захваченного дятла. Я хорошо изучил эти острые крики в бору.

– Задрал! Задрал! – услышал я крик Мишки. – Здесь, здесь!

Он, должно быть, по слуху добрался до места и теперь призывал меня.

– Летит! На тебя летит!.. Держи! – кричал отчаянно Мишка, точно драли его.

Я взвожу курки, поднимаю ружье, жду, охваченный знакомой дрожью азарта...

В просвете бора я вижу темный быстрый зигзаг, еще зигзаг... Вот уже и над головой...

Бах... ха-ха-ха-а-а... – покатило в бору. Что-то черное кривым взмахом поплыло к земле, зацепило за сук и упало...

Ястребок!.. Совсем еще молодой, с яркой желтой каемкой у клюва. Сраженный маленький хищник лежал беспомощно... Нет!.. Он готовился дорого продать свою, нужную ему жизнь: он шипел, пощелкивая желтым клювом и широко открывая рот, трепетал крылом и даже поднимал крючковатую лапку.

– Птенец... – глухим шепотом сказал Мишка.

– Да... птенец...

На меня глядели вздрагивающие глаза, черные, напряженные, строгие. В них видел я, – а может быть, мне показалось так, – я видел в них ужас, и... ненависть, и упрек...

Мы стояли над ним, а он, не переставая шипеть, при каждом нашем движении с угрозой поднимал лапку.

Совсем стемнело. Уснула камышевка. В монастыре ударило десять. Я мрачно смотрел на подбитого ястребка. Что с ним делать? Бросить так, раненного, ночью? Нет, я не мог. Я нагнулся, получил сильный удар клювом в руку и схватил ястребка за спину.

– Неси ружье, Мишутка... Идем!

VI

«Пи-пи-пи!..»

Это пищит мой одинокий королек, надоедливо напоминает о себе. Напрасно напоминает!.. Все эти дни я точно забыл о нем; писк и прыганье на окно меня не трогают. Я уже не сажаю его на плечо, не пускаю засыпать в рукав, и еще, сегодня утром, когда он доверчиво вспорхнул ко мне на плечо, я толчком сбросил его.

Я поглощен другим: из головы не выходит моя жертва, подбитый мною ястребок. Вот уже третий день он сидит у меня на вышке, в маленькой комнатке под крышей. Я не знаю, что мне с ним делать. Ранен он неопасно. У него дробью разбито крыло, он может поправиться, и я тогда вынесу его в бор.

Но странно – ястребок плох, очень плох, и ему, видимо, с каждым днем становится хуже. Если бы он относился ко мне доверчиво, принимал пищу, позволил себя осмотреть, все было бы хорошо. Но он дикий какой-то, странный. Видимо, он твердо решил, что я его враг, и не желает понять, как я хочу спасти его, вернуть ему здоровье и свободу, искупить свой жестокий порыв, в котором я теперь раскаиваюсь.

С трудом удается мне осмотреть рану маленького хищника. Он клюет меня, вонзает в мои пальцы свои тонкие крепкие когти, мои руки в царапинах и синяках, но я тверд. Я не боюсь боли. Этот молодой хищник платит мне за них, которых теперь уже нет.

Я промыл разбитое крыло, выбрал дробинки... Я принес пленнику сырого мяса, сую кусочки в его желтоватый рот, но ястребок пятится, не сводя с меня черных подрагивающих глаз, шипит и старается забиться в угол. Вот уже четвертый день он не хочет брать пищи и заметно слабеет, но шипит и царапается по-прежнему. Он может умереть голодной, медленной смертью на моих глазах, день за днем растравляя мое сердце, показывая, что я, я убил его! Мне начинает почти казаться, что он сознательно делает это, зная, как мне тяжело. Но нет, во что бы то ни стало я должен его спасти!

При помощи Мишки я силой разжимаю крепкий клюв и насильно запихиваю кусочки мяса. Ястребок закрывает рот, жует как будто, но тотчас же выбрасывает; и неотступно глядят на нас подрагивающие глаза, горящие каким-то грозющим светом.

За этим занятием застает меня как-то Семен Федорыч.

– Ну как? Привыкает?

– Нет, шипит только и царапается. Попробуйте, заставьте его проглотить...

Дьячок берет кусочек мяса и подходит. Ястребок приседает, вытягивает шею, встряхивая крылом, шипит и старается зацепить лапкой.

– Сурьезный... Ишь-ишь!.. Ах ты, бестия!..

Он пробует разжать ястребку клюв, но сейчас же отскакивает, трясая рукой.

– Ах ты... почтеннейший!..

Почтеннейший! Да, это удачное выражение. Еще бы! Ястребок сидит, весь распушившись, разинув рот, выпучив глаза и щелкая клювом. Какая-то серьезная важность и строгость в этой взъерошенной фигурке... Да, именно – почтеннейший.

– Поштеннейший! – повторил Мишка. – Эвона, какой поштеннейший!.. Ну ты, поштеннейший! Жри!

– Давно не ест?

– Четвертый день.

– Ну, кончится. А жаль – совсем молоденький.

Жаль! Если бы Семен Федорыч мог знать, что было у меня на душе!

Целые дни я почти не спускаюсь с вышки. Я кладу мясо, прячусь за дверь и смотрю. Ястребок складывает крылья, приседает и начинает засыпать. Но стоит мне войти, как опять поднимаются крылья и вздрагивают глаза.

Он слабеет – это ясно видно – хиреет с каждым днем. Летательные мускулы его подбитого крыла вспухли и даже гноятся, несмотря на принятые меры. И он уже не так раздраженно клюется. Нет, мы не можем быть друзьями. Он не привыкнет ко мне, это дикое существо не может простить мне муки.

Мишка ежедневно спрашивает:

– А поштеннейший как, а? Жив поштеннейший?

Я уже не могу ходить в бор, не могу. Мне стоит только услышать вдали это вольное, гордое раньше, теперь такое тревожное и злое в своей беспомощности «пы-ы-р-р-р-л-ль», как я уже вижу маленькую пустую комнатку наверху и маленького ястребка в уголке. Он при моем появлении начинает пятиться дальше и дальше в угол, дрожать глазами и шевелить крылом. Он боится меня до ужаса, не сводит глаз, и в них я вижу... я вижу в них десятки жертв.

– Барин, а барин... слышь! – сказал мне раз Мишка, когда мы оба возились с ястребком. – Отнесем-ка его в бор... Может, они сами его оправят?..

Верно! Мишка, положительно, умный парень. Самое лучшее – в бор. Может быть, они и выходят его или он и сам выправится на воле. А если... Но тогда, по крайней мере, не на моих глазах. Я намучился и так достаточно.

Решено. Сегодня я уношу его в бор.

VII

Бледнеют и гаснут яркие полосы на западе. Темно в бору. Ползут смолистые запахи, крадутся тени, стихают редкие голоса. Мертво как будто, но жизнь незаметно идет, невидимая глазу, неслышная жизнь.

Жучки-короеды без усталости ведут свои красивые ходы, высверливая старые стволы, и даже тонкое ухо едва ловит скучный сверлящий звук – тик-так, тик-так. Ночные пауки ткнут по кустам крепкие сети на мошкарку к утру, точно заботливые рыболовы ставят с вечера верши¹⁴ и вентера¹⁵. Быстроногие жужелицы бесшумно выхватывают и грызут неповоротливых слизняков. Летучие мыши с мягким свистом мелькают в бледном просвете вершин, а в густых кустах папоротника теплятся зеленые огоньки светлячков.

Я и Мишка выходим на хорошо знакомую полянку, заросшую папоротником и заячьей капусткой, старинную вырубку с остатками пней и ям. Здесь еще недавно любили присаживаться на вершинах ястреба. Тут же побитая грозой сосна, на которой яркими днями возятся пестрые дятлы.

Над нашими головами, в вершинах, завозилось что-то, упала сухая ветка, ясно отдалось хлопанье больших крыльев.

– Он... – шепчет Мишка. – Полетел... Боятся...

Мы оба проводили глазами ленивый полет. Да, они боятся. Они даже ночью спят теперь одним глазом.

Я вынимаю из корзинки ястребка, все еще пытающегося ударить меня ослабевшим клювом. Я сажаю ястребка на пенек, Мишка кладет к его ногам кусочку сырого мяса.

– А не заклюют его? – шепотом спрашивает он.

Я понимаю, что и в Мишутке произошел перелом: еще недавно страстный гонитель и мститель, он, кажется, готов теперь остаться в лесу и сторожить ястребка.

¹⁴ *Вёрши* – воронка, сплетенная из прутьев и предназначенная для ловли рыбы.

¹⁵ *Вёнтерь* – то же, что и верша, только натянутая на несколько обручей.

– Заклюют его, – не дождавшись ответа, говорит он. – Сова нападет...

Но что же делать! Какая тишина и темь! Ястребок сидит на пеньке, но его не видно и не слышно, точно он умер, точно мы бросили его в глубокий колодец, в эту таинственную темноту глухого бора. Но он жив, он думает, он страдает молча, он боится нас, – я это чувствую. И надо бросить его, уйти... Но что же делать!..

– Ну, Мишук, идем...

Я иду не оглядываясь, спешу поскорее выбраться из бора. Мне душно в жаре застоявшегося смолистого воздуха. Скорей в луга, под звезды. Я хочу видеть вечное, чистое небо, где нет борьбы, слёз, крови.

Я иду, спотыкаясь на кусты папоротника, корни и пни.

– Ми-ша-а-а! – кричу я, не слыша шагов за собой.

Он отстал. Я жду. Слышу наконец догоняющие шаги. Он идет молча. Вот и просвет. Волна свежести ударяет в лицо. Простор... Луга, бесконечные, вольные луга тянутся к Оке.

– Пропадет... – говорит Мишка печально и вздыхает: – Ма-ахонький...

Я плохо спал ночь: тревожные, отрывочные сны грезилась мне. То мне казалось, что ястребок, совсем здоровый, с жадностью ест сырое мясо, то представлялось, что он в лесу, сидит на сосне и смотрит, вывернув набок голову.

VIII

Я проснулся рано – едва белело окно, но уже пропали звезды. Волны тумана плыли с лугов, заливали всю слободу, прорывались между стволами в бор. Все еще спало крепким сном; только сипло кричал петух в сарае, да на кусту, под окном, чуть пикала еще полусонная птаха.

Я взглянул к бору. Он спал еще под своей темной шапкой. Я открыл окно. Холодок утра потянул на меня ароматом скошенных трав. Я дышал и слушал – следил за подымавшимся утром. Как хорошо! И как редко я видел это утро... Что-то розовое, неуловимое бродит в небе; должно быть, солнце подкатывается к горизонту и сейчас покажет край свой.

Да, оно идет, идет... Уже бойчей и громче перекликаются птицы, и чуткий грач разбудил стаи своим важным «кра-а!». Какой шум! Тысячи крыльев шелестят в воздухе: спешат в луга веселые стаи.

Ярче розовые лучи, редее туман... Солнце!.. Выплыло оно из-за Оки и уже покачивается пунцовым шаром.

Я вспомнил о *нем*, и мне стало тоскливо, и яркие краски утра поблекли.

Он там... Он один не спал, когда все кругом спало. Брошенный, он во тьме томительно ждал нового тяжелого дня. А может быть, его взяли?.. Меня тянет взглянуть, что с ним. Мишутка обещал прийти «к солнцу», но теперь уже половина четвертого, а его нет: должно быть, проспал. Я не жду, беру мясо и спешу в бор. Вот и полянка с кустами папоротника, осыпанного росой. Да где же этот пень? А, вот он...

Пррр... Большая серая ворона порхнула из-за него, запрыгала боком к чаще, грузно поднялась и мягко-лениво опустилась в сторонке на молодую сосенку. Ворона?.. Зачем она здесь? Очевидно, у ней есть здесь дело; очевидно, она... Теперь я понимаю, зачем она здесь. Я вижу своего ястребка. Как-то весь опустившись, он бочком сидит под пеньком, стараясь забиться в норку между корнями. Я подхожу, протягиваю руки...

– Куда ты, куда, бедняк?..

Он бежит от меня, прыгает, машет крылом, спотыкается на корни, но бежит. Каким, должно быть, страшным чудовищем кажусь я ему, этому малышу. Он не понимает, как я мучаюсь за него. Но он прав, конечно, по-своему. Что же в его глазах я, как не чудовище, вырвавшее его из жизни, разбившее крыло, бросившее в лес и теперь еще не оставившее его в покое?

Он отковылял к другому пеньку и уткнул нос в трещину... Но что же мне делать?! Нести назад? Смотреть, как он день за днем будет умирать на моих глазах? Нет, я не могу!.. Как бы я был счастлив, если бы не нашел его, не знал, что с ним, или нашел его труп... Я зарыл бы его и забыл. Но теперь...

Где-то в стороне невидимый ястреб уныло кричал свое трепетное, как будто зовущее «пырлль... пы-ы-р-р-л-л-ль»... Позади услышал я быстрые шаги. Это Мишутка.

– Ну что? Жив?

– Жив, брат... жив...

– Ага!.. И мясо съел!.. Съе-ел!..

«Съел ли? – подумалось мне. – А ворона?» Если она съела мясо, она будет теперь сторожить. Она, по всей вероятности, поняла все и будет ждать. Я задумался. Продолжать опыт, оставить ястребка еще на день в бору или взять? Попробую оставить.

Мы кладем на пенек мясо, сажаем ястребка, отходим подальше, прячемся за сосны и ждем.

Ворона, терпеливо чистившая нос на сосне, порхнула к пеньку, выхватила из-под носа нашего ястребка мясо и снова перебралась на сосенку.

– Ах черт! – вырвалось у Мишки. – Вот ведьма!

Очевидно, сколько ни клади, все напрасно.

Вдруг над нашими головами затрепетали широкие крылья, и громадный ястреб плавно закружился над поляной, издавая призывный крик.

Я взглянул на ястребка. Его здоровое крыло забилося. Он подымал голову, точно собирался лететь.

– Мать... мать! – взволнованно шептал Мишка, теребя меня за рукав. – Она... вот те крест... она...

Вдруг ястребок рванулся и полетел с пенька наземь.

Я был несказанно рад теперь; очевидно, его нашли, узнали о нем и, быть может, возьмут. Во всяком случае, ворона уже не задерет его.

– Ночью-то его не видать было, а теперь признали, – говорит Мишка. – Уйдем, пра, уйдем. Они его заберут...

– Да, лучше уйти...

День тянулся долго. Вечером мы снова были на месте. Все то же, только наш ястребок, кажется, ослаб еще больше: он сидел на брюшке, нагнув голову, как будто дремал, но, услышав шаги, встрепенулся и заковылял в сторону. Мы выкопали маленькую ямку, постлали моху, посадили ястребка, положили мяса и чуть прикрыли мохом. Так ему будет безопасней и теплей ночью.

IX

Эту ночь я спал плохо. То мне казалось, что сейчас мою жертву терзает своим крепким клювом ворона, то я представлял себе, как ястребок умирает, разевая свой рот, ищет воды... Воды?.. Мы в волнении совсем забыли оставить ему воды. И я не догадался! Эти дни прошли для меня такой черной нитью, как никогда. Точно что-то карало меня, чье-то невидимое, но существующее око. Оно лишило меня сна, покоя, радости летнего утра, ярких красок молодых дней. И я знал, что это за око, как звать его...

И я знал, что оно внутри меня и никогда не покидало меня. И нельзя уйти от него, заставить его замолчать.

Мы не дали воды!

Я вскочил, поглядел в окно. Совсем черная ночь, даже звезд не видно. Очевидно, или сильный туман, или облака затянули. Какая-то жуть овладела мной. Я чиркнул спичкой. Блеснуло и осветило мое бледное лицо на стекле окна.

Но надо идти к нему и поставить воды...

Я быстро оделся, достал жестянку, взял кувшин с водой и вышел на воздух. Черная ночь. На монастырской колокольне пробило два. Слава богу, скоро рассвет. И я пошел во тьме.

Вот канава, за ней бор. Гудят вершины. Бор что-то не спит сегодня: должно быть, в вершинах играет ветер. Какая темь! Я спотыкаюсь на кусты папоротника, царапаю руки о шиповник. Поляны нет... Остается еще заблудиться. Я пробираюсь на ура.

Дорога под ногами! Эва, куда я прошел, совсем в другой конец... Поворачиваю и натякаюсь на сплошную стену молодых сосен. Что-то шарахается над головой – должно быть, сова. Та поляна вправо отсюда... Иду и попадаю в какую-то яму. А, черт!.. Надо было забрать фонарь. Пробую кувшин – вода еще есть. Чиркаю спичкой. Вижу только кусты бузины и орешника. Ну, наделал же я себе тревоги! Блуждать ночью с кувшином воды по бору! Да, ястребок действительно покарал меня. Или это не ястребок? Он, конечно, ничего и не подозревает.

Измученный и уже не зная где, в какой стороне поляна и в какой – слобода, я присел на хвою, кутаясь в пальтецо. Жуткий шорох кругом. Падает сухая ветка, а кажется, что кто-то ступил около меня тяжелой ногой. Загудел жук в сторонке, точно кто-то ворчит за соседним деревом и подбирается оттуда. Даже комар, ничтожный комар испугал меня. Он запищал тонко-тонко, а мой расстроенный слух передал мне его пискливую нотку, будто кто-то протяжно крикнул: «А-га-а-а»...

Это бывает иногда, этот обман слуха. Это бывает ночью, когда сидишь один в комнате или, еще лучше, в лесу и чего-нибудь ждешь насторожившись; или в жаркий день, когда задумчиво сидишь над омутом и ловишь рыбу, а солнце палит голову, и хочется спать. И вдруг стрекоза затрепещет крылышками – и вздрогнешь.

Слава богу! Светает никак? Небо забелело, и уже забеспокоились грачи. Вот и совсем светло. Я осматриваюсь. Поляна, где мы оставили ястребка, почти рядом. Я иду, подбегаю к ямке. Ястребка нет. Я оглядываюсь – нет; я обыскиваю кусты бузины, шиповника, калины и папоротника – нет. Неужели его забрали они, его родичи, захватили своими крепкими лапами и унесли от меня? Какое счастье! Но я еще не могу поверить. Вот яма, оставшаяся после сгнившего пня... Он!.. Он там...

Он забился сюда. Из-под листьев ландышей и костяники я вижу выставившуюся головку и тревожно смотрящий глаз. Он увидал меня и узнал. Нет сомнения, он узнал меня и подался под листья ландышей. Я раздвигаю их и беру его. Он худ, как скелет, – я слышу пальцами ребра и кость уже облупившейся грудки. Он уже не клюется, он совсем ослабел и даже не может шипеть. Какой запах! Это от разбитого крыла. Я с содроганием разглядываю рану. Какая опухоль! Все синее... Крыло едва держится на жилке... Я стискиваю зубы и не знаю, что делать мне. Его уже нельзя спасти. Я сажаю его на пенек, нагибаю его клюв в воду. Он едва дергает головой, жалобно пищит и не пьет. Я стою над ним, думаю и страдаю...

Но не могу же я вечно быть около него! Но уйти... Я знаю, что, как только приду домой, меня опять потянет сюда, на поляну...

Опять порхнула ворона. О, проклятье! Она сторожит его. Она имеет на него виды. Лучше бы я убил его тогда, лучше! И не было бы мучений...

Одна мысль мелькнула в моем мозгу. Да, да, так лучше. Я знаю, что теперь делать. Его я не спасу, он все равно погибнет завтра или дня через два... Но это целые годы для меня. Я не дам его разорвать заживо... Лучше я сам... Ведь один момент... только момент...

Я спешу домой, беру из уголка проклятую двустволку, внимательно осматриваю ее и, весь охваченный дрожью, почти бегу в бор, на поляну.

Оно, невидимое око, кричит во мне, но оно кричит во мне за то, что было, а не за то, что будет. Оно знает, что будет; оно знает, что это будет уже необходимый, вынужденный, последний выстрел.

Я буду стрелять и страдать. И я знаю, что это будет мое искупление...

Я смотрю на него. Он сидит съезжившись и покачивает головкой.

Прощай! Прощай, бедный, загубленный птенец! Сейчас ты избавишься от страданий.

Я отхожу шагов на двадцать. Ястребок сидит неподвижно, может быть, смотрит на меня и боится. А может быть, и не чувствует ничего?..

Я поднимаю ружье и... не могу... Конец ствола чертит по воздуху, дрожат руки. Раньше бы им надо было дрожать!..

«Пы-ы-рррррррррррр... пы-ы-р-р-р-л-л-ль»...

Они кричат... они проклинаят меня... А быть может, – одобряют... Кто знает?.. Но скорей, скорей!..

Я снова навожу ружье, закрываю глаза...

Глухо покотился выстрел, мой последний выстрел... Рассеялся дымок. Он неподвижно лежал на пенке и... больше не страдал. Не страдал и я. Пусто как-то было на сердце.

Я бережно взял его, обернул листьями папоротника, положил в ямку, засыпал землей и прикрыл мохом.

Не было ни души кругом. Никто не глядел на меня. Никто не мог видеть моего лица... А сердце... кто может видеть?

Солнце играло на полянке, сверкала роса на кустах. Стучали дятлы, посвистывали синицы, резко вскрикивали иволги. Все ликовало в ярких красках свежего летнего утра. А я... я шел понурый, с замиравшей печалью в усталом сердце.

На опушке мне попался Мишутка.

– Ну что? Жив? – еще издали крикнул он.

– Нет... – ответил я. – Помер он...

– По-мер? – Его всегда оживленное лицо вытянулось и как-то погасло. – По-о-мер... – вздохнул он.

– Да... – повторил я, избегая глядеть в глаза.

– А я-то думал, он...

Он замолчал и не высказал, что он думал. Мы идем молча. Он не посвистывает, как всегда.

– Закопали вы его?

Я кивнул.

– Так я его и не видал...

Проходя мимо дьячка, я занес ему ружье.

– Что же? Кончили?.. Пошелкали порядком... Вот бы теперь вам на уток... Изловчились вы теперь... Не думаете? А коростели какие в лугах! Да вот я вам покажу... У Митрича ружье брал... Утречком сегодня парочку зацепил...

Он было пошел в комнату, но я удержал его:

– Не надо. Знаю... Дайте стакан воды...

Он пристально взглянул на меня.

– Что с вами? Побледнели вы как... От жары э т о...

– Да, должно быть...

Он принес воды и порекомендовал класть на голову конский щавель.

– Облегчает. Ну а ястребок как? Живет?

– Помер.

– По-о-мер... – протянул Семен Федорыч. – Ишь ты...

Он рассмеялся и похлопал меня по плечу.

– И горе же вы охотник, ей-богу!..

Х

Кончилось лето. Я забыл о ястребке. Спокойствие снова ко мне вернулось. Снова солнце ярко светило мне, бор весело звенел для меня своей хвоей. Румянились вечерние зори и утра.

Королек-сирота подрос, но по природе был все таким же снежным комочком и засыпал на плече, как когда-то давно-давно.

Наступило время отъезда. Мишка чуть-чуть поплакал, провожая меня.

– Ну, прощай, Мишук... На память оставляю тебе моего королька... Береги его...

Глаза Мишки расширились. Этого он не ожидал.

– Ему здесь лучше будет. Ты присмотришь за ним, а в городе некому будет за ним ходить... Ты любишь его, и он тебя полюбит...

Я собрал свой несложный багаж, взвалил в тарантас и простился со старушкой-хозяйкой.

– Доброго здоровья, батюшка... доброго здоровья... Не забыли ничего? Да-а... а крылья-то?

– Что?

– Крылья-то... в сарайчике... Что убрать-то наказывали?..

Крылья? Я вспомнил... Крылья! Мертвые, сухие крылья!..

– Нет, нет... Не надо...

– Ну и хорошо... Выкину я их.

Я взял из рук Мишутки моего королька, приласкал на прощанье и передал с рук на руки.

– Может, жалко? – любовно сказал Мишутка. – А то берите...

Да, мне было жалко. Но мне было также жалко лишать королька свободы. Не в комнате же проводить ему свою жизнь. Возле монастыря я увидал дьячка. Он шел к обедне.

– Прощайте, прощайте... На лето опять заглядывайте...

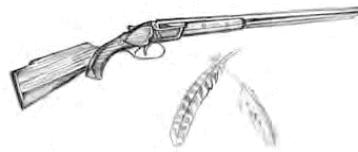
– Как обстоятельства... Всего хорошего...

– Счастливого пути!.. Так охотиться будем? – кричал он мне вслед.

Я не отозвался.

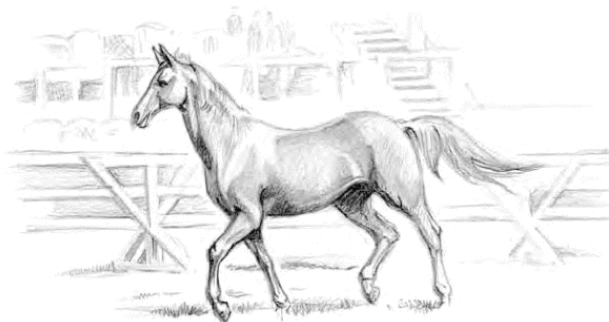
– На ястре-бо-ов!!

Я как будто не слышал.



1908

Мэри



Глава I. Старый жокей

– Да, вы мне более не нужны! Ступайте в контору и получите расчет...

– Но... ваше сиятельство... вы пригласили меня на пять лет. Я уже два раза отказался от выгодных предложений.

– На пять лет!.. Ну да... зная вас за прекрасного жокея... А вы что сделали?.. Осенью провалили Изумруда... Крокусу ноги переломали!.. О, черт возьми!.. Весной вы опозорили меня, пришли последним на Цезаре!..

– Я предупреждал ваше сиятельство: Цезарь болел.

– А-а-а... эти вечные отговорки: насморк, кашель, отскочила подкова, лопнула подпруга... Выдохлись вы со всей вашей славой!

Старый наездник поднял сморщенное бритое лицо и в зеркале над камином увидел тусклые глаза, угрюмо высматривавшие из-под седых бровей, выпуклый голый череп и провалившиеся щеки. Сухая рука нервно сжимала хлыстик с перламутровой ручкой.

Неужели все кончено и пора уходить? Куда?

Он растерянно обводил глазами роскошный кабинет графа, владельца знаменитой конюшни, бронзовые фигурки скакунов-победителей, развешанные по стенам хлысты, подковы и седла и остановился на плотной фигуре хозяина в кресле.

– Вы получили больше, чем стоите! Вы погубили мою репутацию!.. Вы... что вы сделали с Игорем?.. Вы не приготовили его к сроку, и он не попал на приз!..

– Но... молодой граф испортили ему заднюю ногу... на прогулке...

– Ложь! Освистать моих лошадей!.. И он в претензии... «линючий» жокей, как кричали там, на местах!.. Нет, я не могу вас держать... Ступайте...

Старый жокей поклонился.

– Прощайте, ваше сиятельство. Да, ваша конюшня потеряла славу, с ней и я потерял свою... Но я ни при чем.

Забрав чемодан, он поехал в гостиницу. Октябрьский дождь заливал громаду домов, дрожал в лужах, в ушах отдавалось: «линючий... линючий... линючий...»

Кончена жизнь. Вот она, слава, эта подлая жокейская слава! Как повернулось все в этот последний, ужасный год! А раньше...

Публика носила его на руках. Владельцы богатейших конюшен заискивали перед ним, осыпали подарками, переманивали к себе его, бессменного победителя на всех скачках. Ему пожимали руку, его фотографии висели в кабинетах спортсменов. И вдруг... удар за ударом! О, эта конюшня графа Запольского! Лучшие скакуны теряли славу, лист за листом увядал побед-

ный венчик наездника. А все этот молодой граф: он из-под рук брал лучших скаковых лошадей, чтобы хвастнуть на прогулках, и портил... Но что поделаешь с графом? Он балует сынка, к тому же он так уверен в жокее! Первым позором Числов был обязан ему, этому крикливому мальчишке. А потом пошли неудачи: сорвалась подкова, лопнуло седло, по настоянию графа пущена больная лошадь...

«Он выдохся, этот старик... Утопил Запольского! – вспомнил жокей крики скаковой публики. – Долой Числова!»

Как ненавистно стало ему в тот памятный день его ремесло! Свист и шум неслись от трибун, где сидит публика; кто-то бросил к его ногам скамейку. Владельцы конюшен, члены, с неудовольствием смотрели на согнувшуюся худую фигуру, а председатель, этот важный седой добряк, остановил его в проходе, ударил по плечу и сказал:

– Плохо дело, старина, плохо... Публика чутка... Уходить надо...

И Числов понял, что теперь все потеряно, что ему не поручат даже самой плохой конюшни. Грозилась старость, средств нет, а в далеком городке дочь-вдова с двумя ребятишками в покосившемся домике у заставы.

Дождь порывами стучался в окно. Свечка едва освещала крохотный номер.

«Вот и прошла жизнь... – казалось, гудел самовар на кривом столике, – а ты и не заметил!» Пустая, бесполезная жизнь...

«Ты, дедуска, скакун... поскакай, дедуска!» – вспомнился Числову лепет внучки Надюшки.

По темным квадратам окна ползли дождевые струи.

Глава II. Мэри

Утро было серенькое, тусклое. Числов встал, посмотрел на потертый чемодан и усмехнулся:

– А немного я нажил за тридцать лет! Вот и знаменитый жокей...

Он вспомнил товарищей: Крюков имеет дом, Иванов держит конюшню, Козлов уехал на родину и купил имение. А старый Числов был гол как сокол. Было у него тысяч пять сбереженных, да пропали: купил он красавицу Грёзу, думал призы брать... Он до сих пор не может забыть эту статную, бойкую Грёзу. Ее отравили они, его враги, славу которых затмил старый жокей.

Много денег пропало за хозяевами: один Васильковский тысячи две ему должен. Много пролечил он на зятя, жокея, разбившегося на скачках... А два года, что не работал он сам, повредив себе ногу! Нечего сказать, славная жизнь! Сколько жокеев кончили дни свои на скаковом ипподроме! Их уносили, а праздная публика ждала новых зрелищ. А искалеченных и пристреленных лошадей сколько!

«Довольно, – думал старый наездник, – восвосяи пора... Поступлю на конский завод... Завтра же еду, вот только с земляком проститься».

Болотников проживал около скачек, и Числов направился к ипподрому.

Вот они, стрельчатые места для публики, сиротливые, заброшенные теперь, в это скучное октябрьское утро. Мокрой лентой тянется забор, тощие липки и грязь, грязь... Пестрыми пятнами торчат на заборе клочья старых афиш. Длинными ящиками растянулись конюшни. Скаковой круг чернеет широкой лентой; каждая выбоина, каждый камень, все тайны грунта знакомы Числову.

Качающейся походкой жокея прошел он мимо трибун, мимо членской беседки. Он хорошо помнит ее: здесь получал он подарки, овалы, деньги... А вот и он, старый знакомец, призовой столб, простой серенький столб. Дождевая вода бежит по его бокам, а на верхушке примостилась ворона.

Числов подошел к столбику, даже рукой похлопал.

– Прощай, братец...

А столбик точил дождевые слезы.

Вон сквозь сетку дождя мелькает на повороте знакомый контур.

«А ведь это Болотников на Ханше проскачку делает...»

Числов пошел полем, наперерез.

– Петр Иванович, сто-ой!..

Они поздоровались.

– Домой еду... проститься пришел.

– Тебе видней. Сжили тебя, старина... Гальтон слопал!

Гальтон! Старый Числов долго будет помнить его. Ловкий англичанин приехал создавать себе славу, и Числов побил его. О, какой это был триумф! Лучшая лошадь проиграла скачку. Числова пронесли на руках, музыканты играли туш. Сам граф Запольский лично просил старика принять у него место жокея... Гальтон был рассчитан, но... остался его приятель. Старый жокей понял только недавно, что из этого вышло. Это он, Шиффер, подрезал подпругу, это он, Шиффер, вытащил гвоздь из подковы, это он, он отравил Грёзу.

– Эх, старина, – сказал Болотников, – слава ты, а чистый младенец. Провели, брат, тебя...

– А-а... не то... Устал я... Пора кончить эту проклятую скачку – ход у меня не тот...

– Ну а я еще... С Гальтоном я посчитаюсь. Вот погоди, весной я буду скакать на Громе...

Лэди... будет побита!..

– Как? Ведь это наша лошадь... Запольского...

– А Гальтон-то чей!.. Опять у него... со вчерашнего дня...

– Так вот как... а-а...

– Да, и дал слово поправить «испорченную» конюшню...

– «Испорченную»... дал слово... О, если бы Грёза была у меня!..

Числов сжимал кулаки, тусклые глаза его блеснули.

– Ну, я за тебя побью... Что?

Числов покачал головой.

– Лэди не будет побита, я знаю ее... Это – машина.

– Мой Гром побьет... вот увидишь... Приезжай, брат, смотреть. Да, слышал? Васильковский совсем прогорел, лошадей продает сегодня... Хочешь, посмотрим?..

– Должок за ним есть...

– Вот и получишь... айда!

И они направились к конюшням. Под высоким навесом стояло несколько лошадей в желтых пополах. Возле них ходили жокеи, спортсмены, любители. Сам Васильковский, сухощавый старик в пенсне, шведской куртке и высоких ботфортах¹⁶, с хлыстом, что-то объяснял худенькому жокею в клетчатом пиджаке. Это был Гальтон, жокей графа Запольского.

– Ага, старина... Здорóво, здорóво... Ну, как ты теперь? – еще издали закричал Васильковский.

– Домой еду... кончил я.

Гальтон подал руку.

– Ви уезжайт пожинаят лавры... в провинц?..

Числов угрюмо взглянул и сказал:

– Пора помирать... где нам лавры!..

– Неужели совсем, а?.. – говорил Васильковский. – Жаль, жаль... Те-те... брат, надо нам с тобой рассчитаться, значит... Вот продаю лошадей...

Он заглянул в записную книжку и покачал головой.

¹⁶ *Ботфóрты* – высокие кавалерийские сапоги, имеющие голенища с широким раструбом (*фр.*).

– Ого!.. Две тысячи сто... Ну, за мной никогда не пропадало... Эй, выводы!..

Старые знакомцы проходили перед Числовым один за другим. Вот вывели Графа – гнедого, в яблоках. На нем Числов взял приз и побил Гальтона. Лошадь купили. Вот Стрекоза, стальная, с белым пятном на груди; у ней ослабли задние ноги. Вот еще лошадь: это Шум, вороной с красным подпалом. Его Числов хорошо помнит: на нем скакал его зять и упал. Лошади прошли хорошей ценой. Аукцион кончился.

«И-и-и-их-хи-и-и...» – раскатилось резкое ржанье из глубины навеса.

– Не кричи, не кричи... – ласково сказал Васильковский, оборачиваясь и грозя хлыстиком. – Не терпится...

Он прошел под навес и вывел невысокую лошадь золотистой масти. Темные, стрелками ушки торчали из-под попоны и дергались; маленькая сухая головка игриво поматывалась, словно старалась избавиться от парусинной покрывки; тонкие ноги, белые снизу, едва ступали. Что-то детское, нежное сквозило во всей фигурке.

– Вот, господа, штучка-то... кто толк понимает!.. Как вы находите, а?.. Только на днях получил с завода... последыш!..

Он сам сбросил с нее покрывку.

«И-и-и-их-хи-и-и...» – задрожало в ушах детское ржанье.

Всем стало смешно.

– Нельзя так кричать, Мэри! Это, наконец, неприлично... при публике! – сказал Васильковский шутя, как говорят детям.

Он похлопал Мэри по шейке. Маленькая головка гордо поднималась над грудью, над узкой белой полоской. По тонким сухим ногам, под кожей, пробегали легкие вздрагиванья.

– Картинка! Вы взгляните на ноги, господа, – сталь, английская сталь!.. А шея! – говорил Васильковский.

Он щелкнул хлыстом по ботфортам.

– Ну-с, покупайте...

Гальтон подошел к Мэри, тронул ладонью ноздри, похлопал по шейке. Мэри скосила глаза: она точно следила.

Гальтон смерил грудь, покачал головой, смерил ноги.

«Фррр...»

Мелкие брызги попали в лицо жокею.

– Да стой же, дурашка! – закричал Васильковский.

Наконец Гальтон кончил осмотр.

– Ну как? Граф будет доволен... – сказал Васильковский.

– Нэт, нэт... ошен слабый лошадка... ошен слабый... Узкий груд, короткий мах... нелзя на скачки... нэт... – говорил Гальтон.

Он отошел в сторону и еще раз зорко оглядел Мэри.

– Она красива, да... но нэт, нэт... слабый лошадка... нелзя на скачки...

«И-и-их-хи-и-и...» – словно обрадовалась Мэри, перебирая ногами.

– «Слабый лошадка»!.. – передразнил Васильковский. – Тэ-эк-с... хм... Да ведь ей всего второй год!.. А огонь! Вы проглядели огонь!..

Старый жокей не отрываясь смотрел на Мэри. Ее окружили, теснились, гладили, повторяя приемы Гальтона.

– А цена? – спросил кто-то.

– Две тысячи... Что цена! Вот ее паспорт...

Васильковский вынул листок – паспорт Мэри.

– «Отец – Выюн... – прочел он, – мать – Зорька»... Она...

– Зорька? – громко перебил кто-то.

Это был Числов. Он сидел на земле и прощупывал ноги Мэри.

– Да, та самая Зорька, на которой вы обскакали Змейку... Это было так неожиданно!..
– Да... но потом она ослабела, – сказал Гальтон.

– Чудная лошадь была! – сказал один из жокеев. – Не русская, говорят...

Числов молчал. Он держал голову Мэри и гладил. Мэри жевала губами, фыркала, поводи́ла глазами. А старик слушал сердце, стучал по груди...

Вдруг Мэри, играя, сдернула с Числова картуз.

Все засмеялись. Старый жокей отошел в сторону. Его глаза смотрели в одну точку, на белые ножки Мэри. Он думал о чем-то.

– Ну ты, старина, что скажешь? – спросил Васильковский.

– Продавайте... – глухо отозвался жокей.

В голосе слышалось не то разочарование, не то желание кого-то поддеть. Числову верили, и в тоне, каким сказал он, поняли недовольство. Болотников подошел к старику.

– Этот тощий городит, – сказал он, показывая глазами на Гальтона, – он дешево хочет купить. Посмотри, как он сторожит... не оторвется от Мэри...

Числов молчал, низко надвинул картуз и смотрел исподлобья.

– Что, старина, нахохлился? – спросил Васильковский. – Какова лошадь-то, а? Вижу, брат, по тебе она... Ну что же, господа, покупаете?

Никто не отозвался.

– Никто?.. Тэ-экс... – Он шелкнул хлыстом. – Федор Ионыч, бери ты! – сказал он Числову. – В твои-то бы руки, а? Право, бери...

– Куда мне?! – вырвался вздох у жокея. – Я все кончил.

– Опять начнешь... Бери за долг! Жаль, если попадет в плохие руки, а?..

Числов не отрывал глаз от Мэри. Насмешливое лицо Гальтона улыбалось.

«Не купишь... не купишь», – казалось, говорило оно. А веселая головка Мэри игриво поматывалась по сторонам. Болотников взял старика за плечо.

– Федя, бери!.. Не возьмешь – я куплю... Смотри, какие сильные ноги, английские ноги!.. Опять идет...

От группы отделился Гальтон. Он быстрыми, нервными шагами подошел к Мэри, нагнулся и стал прощупывать ноги. Мэри не стояла. Числов видел, как англичанин поднялся, вынул бумажник... Кровь ударила в голову Числову. Он, казалось, забыл обо всем: о прожитой жизни, о семье на руках в покосившемся домике, о скудных остатках на старость. Он видел только Гальтона и Мэри...

– Беру! Беру!.. – закричал он. – Беру за долг, если позволите...

Он подбежал к Мэри, положил руку на шейку и ждал...

– Беру... беру... – повторял он.

– Я покупал... позволте... я даю больше... – спокойно сказал Гальтон, насмешливо улыбаясь.

– Ха-ха-ха!.. – покатывался Васильковский. – Он дает больше!.. Ха-ха-ха!.. Вы изругали Мэри, господин Гальтон... Нет, не пойдет... Бери, Федор Ионыч. Мэри твоя.

– Но я же даю больше! – резко сказал англичанин.

– А я не про-да-ю, черт возьми! – рассердился спортсмен. – Мэри не годится на скачки!.. Ха-ха-ха!.. Он не узнал свою землячку!..

– Я повторяю: она не годится... Я покупал для себя... – сказал англичанин и отошел.

– А ты молодец, ты понимаешь дело, – говорил Васильковский жокею. – Ну что так смотришь?..

«Зачем? К чему мне она?» – думал Числов.

– Подержите пока у себя, завтра я возьму ее с собою... – сказал он.

– Что? Повезешь с собой? Зачем?

– Не знаю... там будет видней...

Болотников хлопал старика по плечу.

– Так, старина, так... А ловко ты его зацепил!.. Так как же, а? Мэри придет сюда? – указал он на грязную полосу круга. – А? Или ты так дураком и останешься?

Мэри уводили в конюшню. Старый жокей, задумчиво покусывая усы, смотрел ей вслед. А дождь все сеял осеннюю скуку.

Глава III. Новые лица

Поезд подходил к городу N. Забелел собор на горе, сверкнула полоса Волги с цепью поросших лесом холмов. Тишиной и покоем пахнуло в душу Числова от родных мест. Здесь, на песках Волги, на обрывах гористого берега, в яблочных садах, что тянулись десятками верст, никогда не звучал скаковой колокол, не волновал сердце спортсмена сигнал «пошли!». Сюда не доносился рев публики; здесь не пестрели камзолы жокеев, не отдавался треск револьвера, пристреливавшего искалеченную лошадь, – не было всего того, чем тридцать лет наполнялась жизнь уходящего на покой жокея.

Из-за полуоткрытой двери товарного вагона, с бьющимся сердцем, смотрел Числов на надвигающийся городок. Смотрела и Мэри, вытянув шею и забирая ноздрями бодрый воздух осеннего волжского дня. Резким криком приветствовала она сверкающую полосу Волги. Старик обернулся.

Мэри!.. Зачем он везет ее, это дитя скакового круга, потеху неунывающей толпы? Она не облегчит труда земледельца, это бесполезное, тонкое, на вид такое хрупкое существо. Что толкнуло его купить ее?

Вон на горе, на краю городка, старый вяз, под ним красная крыша дома, серый ящик сарая...

«Фррр... фррр»...

Старый жокей обернулся.

Мэри положила ему на плечо сухую головку. Дергаются темные ушки, темно-голубые глаза весело смотрят вдаль, влажные губы приятно щекочут лицо.

– Вот и приехали. Ну, Мэри, пойдем!..

Медленно подымался жокей по гористому берегу, к знакомому старому вязу, ведя на поводу Мэри. Вон на углу переулка сосед-лавочник с удивлением всматривается в согнувшуюся фигуру жокея.

Дома не ждали. Жук, черный, шершавый дворняга, дремал у калитки. Утки пробирались домой с соседней лужи. Надюшка собирала кисти рябины в саду. На дереве копошился Сенька.

– Лошадь ведут!.. Лошадь!.. – закричал он. – Дедушка лошадь ведет!..

Жук встрепенулся, вскочил и залаял. Утки шарахнулись в сторону. Старожил-воробей, дравшийся на заборе с врагами из-за пучка рябины, мигом швырнулся вверх, шлепнулся камнем вниз и задергал головкой.

– Чуть-жив!.. Чуть-жив!.. Чуть-жив!..

А Жук приготовился: он ошетинил шею и гавкнул:

– Вы не очень-то... да!.. Я здесь за хозяина!..

– Жук!.. Ах, шельма! – позвал его Числов. – Не узнал, гадина...

Теперь Жук узнал. С год тому назад этот тощий старик приезжал сюда, плакал; плакала и сама хозяйка, Анна Федоровна; потом унесли кого-то в светлом ящике со свечами, пели певичие, а он, Жук, выл на задворках. Он узнал теперь этого тощего старика.

Жук запрыгал, поластился из приличия и сейчас же подскочил к Мэри.

– А это что за фигура? Надо представиться! – гавкнул он.

Мэри остановилась, гордо мотнула головкой и подняла белую ножку.

– Вы, пожалуйста... у меня подковка!..

Бывалый в делах Жук сделал вид, что ошибся, увильнул в сторону и подкатился сзади. Но сухая головка задорно смотрела, и Жук отступил.

«Я скаковая лошадь, – прочел он в глазах, – а вам стыдно...»

Жук растерялся, завилал хвостом и буркнул:

– Ах! Это я так ведь... такая тоска здесь, знаете... Я отрекомендоваться...

Но никто не заметил, что делалось на воротах. Воробей вертелся как ужаленный. Он распушился, прыгал, задирает голову и пищал:

– Чуть-жив!.. Чуть-жив!.. Вот она, жизнь-то... начинается!.. С овсом вас, почтеннейшие воробы, с овсом!.. Лошадь привели к нам!..

С этими словами он ринулся через двор и исчез в сарае.

Выбежала Анна Федоровна и расплакалась. Надюшка уже сидела на руках деда, а Сенька держал Мэри за повод.

– Это мне, дедуся, а?.. – лепетала Надюшка, тыкая пальчиком в глаз Мэри.

– Нет, это мне... – уверенно сказал Сенька.

Мэри обнюхивала воздух и фыркала.

«Какие маленькие люди здесь, – думала она, поглядывая на восьмилетнего Сеньку. – И какие плохие конюшни, и нет лошадей... Странно...»



– Мне ведь, дедушка, а? – приставал Сенька. – Мне?

– Вам... вам... – усмехнулся старик.

«Вот все, что заработал за тридцать лет, – думал он. – Ах ты, старый дурак!»

Он взглянул на плохо одетых внучат, на бледное лицо дочери, на свои старые сапоги и потертую куртку, на прогнивший забор и облезлые стены домика под старым вязом.

«Да, сделал дело!.. Вот она, тихая, покойная старость...» – стояло в его голове.

«Здравствуй, хозяин! – казалось, кричал покосившийся домик. – Пора поправлять... крыша течет...»

Числов вздохнул. Печальные глаза дочери с беспокойством осматривали его. В них он заметил испуг, скрытое горе.

– Фррр... фррр... Ну что же, скоро ли меня поставят в конюшню? – спрашивала Мэри, постукивая копытцем.

«А-а... Мэри. – Он словно забыл о ней. – Да, да... на до поставить ее... в сарай... Ах ты, старый дурак!»

Заскрипели ржавые петли. Мэри насторожилась.

– Ну что ты, дурашка, боишься... – говорил Числов, вводя Мэри в сарай. – Это твоя квартира... Что так смотришь?.. Правда, неважно здесь: пол гнилой, нет оловянной кормушки... щели сквозят... Не плачь, моя птичка... После подумаем...

Он не снял с Мэри попоны, похлопал по шейке и вышел.

Мэри затихла: темнота пугала ее. Она опустила головку в пустую кормушку, обнюхала пол... Что ее ждет? Зачем привезли ее? Что будет делать с ней этот грустный старик?

– Это безобразие! – запищал воробей в уголке. – Скандал какой!.. Где же овес? Лошадь завели, а овса не дают...

Он нахохлился и пулей нырнул в разбитое окошко. Все вошли в дом. Жук постоял, взглянул на закрывшуюся дверь, подумал и лениво поплелся к сараю.

– Дела прибавилось. Что ж, буду сторожить, – проворчал он, примащиваясь возле двери.

Глава IV. В сарае

В маленьком домике до глубокой ночи светился огонь. Старик с дочерью тихо вели беседу.

– Пойду на конский завод, – точно оправдываясь, говорил Числов. – Ведь еще годен я на что-нибудь, а?.. Найду работу...

– Вам нужен покой, папаша... Вы так изменились... Теперь моя очередь, я буду работать... Как-нибудь проживем...

– Покой... покой!.. Я не сумел приготовить себе покоя, как другие... Тридцать лет прослужить на чужую потеху... И меня швырнули, швырнули, как хлам!.. За что? За то, что я брал для них призы, создавал славу их лошадям?.. О, если бы вернуть все назад!

Он встал и в волнении прошелся по комнате.

– Они еще вспомнят обо мне!.. Вот увидишь!..

Анна Федоровна с испугом взглянула на отца.

– Что так смотришь? Ты думаешь, что старый Числов спокойно снесет пощечину?.. А пока не тревожься, Нюта... Кое-что продадим... Одна Мэри стоит две тысячи... Не нищие мы еще...

– Конечно, папаша... Поправим дом, лошадь продать можно... Завод купит...

– Продать... Мэри?.. Ну да... ты не тревожься... Я найду дело... найду...

Он вспомнил про Мэри... «В холодном сарае... заболеть может...»

– Пойду взгляну Мэри.

Он вышел во двор. Шел дождь. Ветер гулял по пустырю вокруг дома, свистел по щелям сарая. Старый вяз сыпал пожелтелые листья.

Жук проснулся.

– Я сторожу, – гавкнул он, узнав старика.

Мэри заржала.

– Что, Мэри, скучно? Что ты дрожишь так?.. Завтра починим твою квартиру, вставим окошко...

Он дал ей овса. Жук незаметно пробрался в угол сарая и завалился на сено.

Старик запер конюшню.

Хру-хру-хру... – похрустывала Мэри овес. «Как скучно! Я никогда не увижу солнца».

Что-то зашевелилось. Она перестала хрустеть и наставила ушки.

– И я с вами, – виновато проворчал Жук. – Такая тоска, знаете, одному под этим дождем... Я не мешаю вам?..

– Нисколько. Мне даже веселей с вами... Послушайте, вы не знаете, зачем меня привезли сюда?

– Мм... как сказать?.. Вы, должно быть, будете возить воду. К нам, видите ли, возит воду старая кривая кляча... Ее зовут Вакса... Плоха-ая такая... Ну вот вас и привезли... Впрочем, я полагаю...

– Возить воду?.. Но ведь я не умею, я скаковая лошадь... Я рождена для ипподрома...

«Какая образованная она!» – подумал Жук и, не желая показаться невеждой, сказал:

– Ип-по-дром... гм... гм... да, я знаю... Это такое, как вам сказать... тоже очень хорошее дело... Но у нас не слышно о нем. У нас возят воду, кирпичи, сено, и потом... вы очень красивы!.. Вы, должно быть, не будете ничего возить...

– Я умею скакать, – сказала Мэри. – А вы умеете?

– Случалось, когда мальчишки камнем швырнут...

«Нет, какая она образованная!.. Ип-по... Вот и забыл... надо спросить воробья», – раздумывал Жук.

– Вот неподалеку отсюда есть дом, – продолжал он, – там живут беленькие собачки... бо-лон-ки... – нарочно медленно выговорил он слово, – они тоже ничего не делают и спят на ковре... Так вот и вы... Будете только кушать овес... Это бывает. Вот у нас есть один дармоед-воробей... Ничего не делает...

– Вы не очень-то! – раздалось из уголка. – Я очень даже много делаю... Я наблюдаю и могу давать советы... да-с... А это тоже чего-нибудь стоит... Вот вы, например, не знаете, для чего привели их, а я знаю.

Мэри подняла голову и ждала, что скажет воробей. Жук нехотя приподнял ухо.

– Да, я знаю. Недалеко есть красивые конюшни... Я бывал там частенько... за овсом я туда летаю. Ну-с, так там есть такой круг... Там много таких, как они вот... Они скачут по кругу, их хорошо кормят за это... Вот овес-то! Потом их уводят... и знаете зачем?..

– Зачем? – спросили Мэри и Жук.

– Вот то-то!.. А вы меня дармоедом... А уводят их за деньгами... да... Я слышал, как там говорили: «Ну, больше денег привозите нам, берите призы». Вот вы тоже должны заработать денег вашему старичку. А то посмотрите, какая здесь бедность: я угла себе не могу найти, дом старый, Жуку живется неважно, конюшня вся в дырках... Вот вы и должны все нам устроить... Вас и повезут куда-то за деньгами.

– Что же... Я очень рада, – сказала Мэри. – Этот старичок такой скучный, мне его жаль. Поверьте, я вовсе не хочу есть даром овес... И для вас, господа, я рада что-нибудь сделать: вы такие добрые.

– Мы труженики, – сказал Жук.

Воробей ничего не сказал и опустил в кормушку.

«Фррр... фррр»...

Струя воздуха из ноздрей Мэри сбила его с овса, он встрепенулся, ударился в стенку и как ошпаренный вылетел из кормушки.

– Чуть-жив! Чуть-жив! – закричал он. – Черт бы вас побрал!.. И овса-то жалко!.. Какой от вас толк? А тоже: «я рада»!..

– А ты не лезь в рот, – сказал Жук.

– Я хотела поиграть с вами... Мне так скучно... – оправдывалась Мэри. – Пожалуйста, кушайте овес.

А воробей уже рылся в кормушке и с радостью думал, как он сумел понравиться и что ему не придется летать за овсом на завод.

А Жук подремывал. Ему виделась новая конура, деревянная миска со щами и жирной костью. Это все должна дать ему Мэри.

Глава V. Первая проба

Дня три старый наездник возился в сарае. Мохом он заделал щели, починил пол, вставил окошко. В конюшне стало теплей, и воробей окончательно перенес сюда свою резиденцию.

Это был одинокий воробей-старожил. При конце жизни он получил прочную квартиру и в душе питал благодарность к Мэри. По всему околотку он разнес весть о ней. С крыши домика он непрерывно кричал:

– Она чего-нибудь да стоит!.. Смотрите, как она меня устроила-то!.. Ну и ты, Жук, все-таки угол имеешь. А ты подожди: она поедет туда, привезет денег, и будет тебе конура и всё... Ур-ра!.. Ур-ра!..

К воробью прислушивались. На двор к старому наезднику стали залетать голуби подбирать овес и послушать рассказней воробья. Вороны с тоской присаживались на заборе и глотали слюни, когда воробей кричал о щах и костях для Жука:

– Скоро всем будет, скоро!..

А когда раз вечером старый жокей вывел Мэри во двор и показывал знакомому с конского завода, воробей услышал:

– Да, это капитал! – сказал знакомый с завода. – Хозяин, конечно, позволит вам пользоваться нашим кругом и готовить Мэри...

И воробей теперь добавлял:

– Это целый капитал, господа! Это не то что кривая Вакса, да-с!..

Мэри начинала понимать, зачем привезли ее. Восторженные крики воробья, внимание Жука, поддакивание и крики удивления ворон, заботливость, с которой ходил за ней грустный старичок, ласки детишек, особенно Сеньки, днями сидевшего в конюшне, – все это убеждало ее, что она готовится к чему-то важному, что она должна что-то сделать для всех.

Она ждала. Тут случилось событие, окончательно уверившее ее в этом.

Прошла неделя. Утром, только поднялось солнышко, старый жокей, по обыкновению, вошел в конюшню, вычистил Мэри скребницей, помазал копытца, тщательно оглядел подковки и сказал, ласково трепля по мордочке:

– Теперь за работу, Мэри...

– И-их-хи-хи-и... – радостно заржала она. – Вот оно... начинается!.. Это так интересно!

Жокей оседлал ее, подтянул потуже подпругу, взнуздал и, как перышко, стал в стремяна.

– Жук, посмотри!.. Старичок-то твой повеселел совсем! – закричал воробей. – Братцы, скоро всем будет, скоро!..

Жук хотел было что-то сказать, но воробья уже не было.

А Мэри скакала легко к заводу. Там, по широкому кругу, носилось несколько лошадей. Мэри заржала: ей стало так хорошо и легко.

У входа на круг ее окружили жокеи, и маленький человек с большим животом и хлыстом в руке приветливо поздоровался с Числовым.

– Наконец-то мы поглядим вашу Мэри... Здравствуйте, Федор Ионыч, слышал я о вас...

Ну-с, покажите ее, посмотрим... Тэ-экс... – говорил он, оглядывая Мэри со всех сторон. – Лошадка знатная... Коротковата малость... Что же, продавать будете, а?..

– Не знаю... так, случайно вышло... Купил – и сам не знаю зачем... подожду...



Мэри с укором взглянула на хозяина.

– Так продавайте...

Мэри слышала, как старик долго говорил с толстяком о своих неудачах, о Гальтоне... Толстяк горячился, называл всех мошенниками, ударял старика по плечу.

– Ах, я знаю их всех!.. Мои лошади лучше этих мошенников. Ну, не унывайте, старина! Для вас у меня всегда найдется дело.

– Благодарю вас, да вот она, – указал Числов на Мэри, – из головы у меня не выходит... А продать... нет, не могу я решиться...

– Чудак вы... ей-богу, чудак!.. Ну, ваше дело... Ну-ка, пустите ее... поглядим вашу Мэри... Эй! Остановить лошадей!

Мэри пошла. Все наблюдали за ней. Лошади взяли в сторону, чтобы пропустить ее. И они смотрят, провожают ее глазами. Солнышко глядит с ясного неба, ветерок так приятно щекочет ноздри. Хозяин треплет ее по шейке и цокает. Мэри понимает этот ободряющий звук.

– Ну, Мэри, цо-цо-цо... – шепчет старый жокей и подбирает поводья. – Цо-цо-цо... Мэри... так... так...

Уже на той стороне круга группа людей. Ниже стелется Мэри, быстрее скользит под копытами черная лента, дальше в сторону летят комья мягкого грунта.

– Ну же... цо-цо-цо...

В струнку вытягивается Мэри. Сильней колотится сердце.

Вот и поворот круга, черная группа людей и толстяк с хронометром в руках.

– Стой, Мэри!..

– Поздравляю!.. Поздравляю!.. Огонек ваша Мэри!.. Гм... Она будет делать дела... – возбужденно говорит толстяк, прощупывая плечи Мэри. – Немного короток мах только... Смотрите, и не вспотела нисколько... Грудь узковата... Но какая горячка!..

– Это не ее ход, – сказал Числов, записывая скорость Мэри, – она еще покажет себя...

Мэри игриво поглядывала на всех.

«Я могу проскакать быстрее... я так рада!» – казалось, говорили ее глаза. Она чувствовала, что все любят ее, она видела, как просветлело всегда печальное лицо хозяина, и ей стало так весело, как никогда за последние дни.

– Круг в вашем распоряжении, Федор Ионыч, – говорил добрый толстяк. – Лучшего жокея для Мэри и быть не может. Вы подарите публике жемчужину...

«Ну, Мэри... я не продам тебя, нет...» – думал старый жокей, надевая на Мэри попону.

Задумчиво возвращался Числов домой. Он не замечал, как Мэри косилась, фыркала, старалась поймать его за ногу.

Он опустил поводья, согнулся, точно под бременем охватывавших его дум. Перед ним проходили трибуны, публика, лошади, жокеи и призовой столб.

«Долой Числова!» – отдавалось в его ушах.

Насмешливо улыбалось лицо Гальтона.

«В провинц... пожинайт лавры...»

Жук сидел у ворот, ожидая возвращения Мэри, – он не смел покидать дом.

«Как долго... какая тоска! И этот дармоед провалился куда-то...» – размышлял он, поглядывая на дорогу.

Прррр... – затрепетал воздух, и маленький комочек почти упал на ворота.

– Уф!.. уф!.. Насилу-то... добрался... Ну дела!.. А? Мэри обогнала меня! Меня, самого ловкого воробья!..

– О! – сказал Жук.

– Да, да... Как пошла она скакать... я рядом, все рядом... во весь дух шел... Я поддаю ходу – она за мной... Уф!.. уф!.. Я уже поперек круга махнул... каюсь... И то опоздал... Какой позор, если бы ты, Жук, знал! Они там все надо мной смеялись, я это очень хорошо заметил... Уф!.. уф!.. Они, конечно, не понимают, что у меня только две ноги... А она-то и рада... После всего этого я не знаю, оставаться ли мне на этой квартире: это не по-товарищески...

Глава VI. Желчный философ

Ранним утром старый жокей выходил на крылечко выкурить папиросу перед тем, как ехать на круг. Старый, подгнивший забор мозолил глаза сорвавшейся с петель калиткой, сбоку сарай-конюшня кричал о своем убожестве; сзади серенький домик напоминал о надвигавшейся бедности. Невеселые мысли бродили в голове старика.

– И-и-их-хи-хи-и!.. – кричала Мэри в сарае.

«Ах, Мэри... – вздрагивал старый жокей. – О, они еще увидят меня!..»

Он жил теперь одною мыслью. Судьба толкнула его купить лошадь. Он приготовит ее, разовьет ее скорость... и снова увидят его желтый камзол с алой лентой, красный картуз. Он поедет за заветным призом, из-за которого бьются все владельцы конюшен, жокеи, спортсмены, он победит, возьмет деньги, вернет свою славу, и, когда его снова будут приглашать эти гордые люди, он скажет им всё и уедет сюда на покой. Мэри вернет ему всё.

«Когда же меня поведут? – думала Мэри в конюшне, вспоминая слова воробья. – Хозяин грустит, всем здесь так скучно...»

В ней начинал развиваться инстинкт скаковой лошади. Носясь по кругу, она искала глазами соперников, но их еще не было. И это ее смущало: она нетерпеливо трясла головой, горячилась, старалась вырвать поводья.

– Не горячись, Мэри, успеешь, – говорил ей старый жокей, – время придет. Они, Мэри, не знают, какое ты золото, они ничего не знают.

Часто, стоя в сарае, перед полной кормушкой, Мэри задумывалась о том, что ее ожидает. Дрожь пробегала по ее тонким ногам, нервно дергались уши.

– Чик-чик... чик-чик... – пытался заговорить воробей.

Мэри, охваченная тревожными думами, молчала.

– И чего важничает, – желчно говорил воробей Жуку, – самая обыкновенная лошадь, а гордости у нас как навоза... хуже Ваксы... Та хоть и кривая, а иногда поговорит со мной. Вот

хоть вчера. «Ну как, воробей, поживаете?» – «Ничего себе». – «А дела как?» – «Ничего себе, – говорю. – А вы как?» – «Сегодня десять бочек свозила». Вот это вежливость!.. Я таких лошадей уважаю... От них – прок!.. А эти, куцые... без хвоста... жрут да дрыхнут, да вот чтобы лапу кому придавить, как вам вчера... И говорить не желает!.. А того не понимает, что я, может быть, глаза ей открыл, когда о деньгах сказал... Невежа!..

– За что вы сердитесь на меня? – спросила Мэри.

– Я с вами не разговариваю!.. Говорят с порядочными лошадьми... а вы только овес даром едите да важничаете... да вот лапу придавить...

– Но я же нечаянно... Разве вы сердитесь, Жук? – спросила Мэри, нагнулась к Жуку и лизнула его в морду.

– Нет, что вы... вы очень любезны, – просиял Жук. – Я повизжал, чтобы позлить воробья: он не любит визга. А когда же у меня новая конура будет?

– Не знаю... Мне что-то страшно, когда я подумаю, что скоро меня поведут куда-то...

– Ничего не будет! Ничего! – злобно зашипел воробей из кормушки. – Вот увидите! Куда вам! Вы только разоряете старичка... Вакса – вот это лошадь! А вы – скакуны – деньгам перевод... Да и хозяин-то дурак. Все вон дело делают, а вы с ним скачете как угорелые... Тут пора дом поправлять, а вы... Вон намедни лавочник что сказал...

– Что? – спросила Мэри.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.